

БИБЛИОТЕКА ЛАВКРАФТА



НАТАНИЕЛЬ ГОТОРН

Дом о Семи
Шпирях

ГЛАВНЫЙ ГОТИЧЕСКИЙ РОМАН
АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Библиотека Лавкрафта

Натаниель Готорн
Дом о Семи Шпилях

«РИПОЛ Классик»

1851

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)6-445

Готорн Н.

Дом о Семи Шпилях / Н. Готорн — «РИПОЛ Классик»,
1851 — (Библиотека Лавкрафта)

ISBN 978-5-386-14860-7

«Дом о Семи Шпилях» – величайший готический роман американской литературы, о котором Лавкрафт отзывался как о «главном и наиболее целостном произведении Натаниэля Готорна среди других его сочинений о сверхъестественном». В этой книге гениальный автор «Алой буквы» рассказывает о древнем родовом проклятии, которое накладывает тяжкий отпечаток на молодых и жизнерадостных героев. Бессмысленная ненависть между двумя семьями порождает ожесточение и невзгоды. Справятся ли здравомыслие и любовь с многолетней враждой – тем более что давняя история с клеветой грозит повториться вновь? В настоящем издании представлен блестящий анонимный перевод XIX века. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам, при этом максимально сохранены особенности литературного стиля позапрошлого столетия.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)6-445

ISBN 978-5-386-14860-7

© Готорн Н., 1851

© РИПОЛ Классик, 1851

Содержание

Документы для призраков прошлого:	6
Дом о Семи Шпилях	10
Часть первая	10
Глава I	10
Глава II	20
Глава III	25
Глава IV	31
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Натаниэль Готорн

Дом о Семи Шпилях

Nathaniel Hawthorne

The House of the Seven

© Марков А. В., вступительная статья, 2022

© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2022

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022

Документы для призраков прошлого: О готическом романе Н. Готорна

Жизнь Натаниэля Готорна (1804–1864) пришлось сразу на несколько эпох в развитии как американской, так и вообще западной литературы, – правда, не очень продуктивно называть эти эпохи такими привычными словами, как «романтизм» и «реализм». Конечно, когда мы говорим о том, как литература XIX века изменила сознание людей и общественную жизнь, без этих ключевых терминов не обойтись. Но если мы хотим разобраться в причудливо устроенных романах Готорна, лучше говорить о том, как менялись эпохи внутри романной культуры, а не в масштабе общественного звучания художественной словесности. Такие термины, как, например, «сенсационный роман» (так называли в середине XIX века романы, написанные на основе газетных хроник преступлений), гораздо лучше подходят для понимания текстов Готорна, чем просто указание на сочетание романтических мотивов и совсем не романтических героев.

Но, конечно, истоки прозы Готорна – вовсе не в репортажах и документах, а в том большом движении, которое связано с пуританством Новой Англии. Пуритане, начиная с 1620 года колонизировавшие Североамериканский континент, считали, что они приносят на эти земли чистую, не зараженную пороками Церковь, и вместе с тем создают эту Церковь, занимаясь миссионерской работой среди местных племен. Они ставили перед собой двойную задачу: во-первых, доказать, что они – новый избранный народ, нашедший свою обетованную землю, а во-вторых – создать обетованную землю, прочитав все происходящее вокруг них в библейском духе, например, увидев в местных индейцах окружение Израиля, филистимлян или вавилонян, чтобы потом, уже обратив их в истинную веру, дать новое начало мировой истории. В 1628 году пуритане основали город Салем, где – почти двумя веками позже – и родился Готорн.

Понятно, что пуританская идея была противоречива: если современные события измерять библейскими историями, то нужно не только проповедовать, но и вести войны, ссориться, мириться, проходить через небывалые испытания. Получалось, что ты будто живешь в романе, который, однако, требует от тебя решений, к которым ты не всегда готов. Чрезмерная суровость жизни не может не привести к нервному срыву, и таким нервным срывом оказалась «охота на ведьм» в Салеме в 1692 году. Подозрение в колдовстве, которого явно не было (скорее всего, галлюцинации и отравления объяснялись действием спорыньи), поддержанное группой детей, охотно доносивших на соседей, привело к массовым казням. Это событие стало тем травматическим эпизодом, к которому постоянно обращалась проза Готорна. Писатель считал, что вина за произошедшее лежит и на его предках, и на нем самом, так что его литературная деятельность – единственный способ искупить эту вину, раз и навсегда объяснив, что хорошо, а что плохо.

В 1825 году Готорн закончил Боудин-колледж, где учился на одном курсе с великим поэтом Генри Лонгфелло. Дружба Готорна и Лонгфелло напоминала многие романтические дружбы, но с одним отличием – Лонгфелло предпочитал открывать новые земли, поэтому, сразу выйдя за ворота колледжа, отправился в Европу, тогда как Готорн, нелюдимый молодой человек, запиравшийся в библиотеке, предпочитал сидеть с бумагами. Он стал образцовым писателем-клерком, который, работая на таможне или в банке, разбирает бумаги и одновременно пишет стихи или рассказы – так и в XIX, и в XX веке жили многие американцы. Замкнутость книжной жизни позволяет не давать отчетов соседям, не объяснять, почему твои романы или поэмы не выражают их идеалы и не отвечают на их политические или религиозные запросы. . . В общем, можно говорить, что ты работаешь внутри литературы, так что если и обвинять кого-то в неправдоподобности сюжета, то только авторов старинных книг.

Именно так, как якобы архивная работа над подлинными дневниками и документами, построен первый (если не считать неудачного дебюта, исторического романа «Фэншо») роман Готорна, «Алая буква» (1850). Прежде Готорн писал в основном фантастические и детские рассказы, тексты яркие, но получившие лишь небольшой круг любителей – знатоков тайн и загадок человеческой души, а равно и волшебных сюжетов, которые, как ничто другое, позволяют показать противоречивость характера человека. «Алая буква» сделала Готорна своеобразным американским Вальтером Скоттом: историческая основа, гордость и достоинство героини, готовой противостоять предрассудкам, честь и верность под гнетом – все это черты романов Скотта. Но только если шотландский писатель доказывал, как можно бороться за политическую независимость даже в самых стесненных условиях, как шотландцы могут сказать свободное слово, которого не ждут от них англичане, то Готорн показывал, как возможна в демократической стране независимость от тирании нравов и предрассудков, которая и оказалась настоящим бичом молодой страны.

Пуритане Вальтера Скотта, как все помнят, – brave ребята, противостоящие развращенной и лукавой монархии, тогда как пуритане Готорна – это люди, злоупотребляющие свободой, люди обиженные и не умеющие правильно отвечать на обиды. Поэтому в романе «Алая буква» фигура мстителя трансформируется: муж главной героини никого не может за собой повести, он растерян и мелочен. В то же время его соперник, преступный священник, не менее растерян, но только потому, что не умеет справиться с имеющимся в его распоряжении набором клише, в согласии с которыми должен вести себя праведник. Он знает, что нужно каяться, и носит алую букву как вериги под одеждой, но все эти действия выглядят как робкое и нелепое распоряжение чужим достоянием. Столкновение мужа и любовника, которое в Европе было бы либо предметом комедии, либо коллизией в романе характеров, где каждый характер проявился бы вволю, иногда и вполне «сенсационно», здесь оказывается историей уступок и компромиссов, обнажающей оборотную сторону власти общественного мнения.

Но, конечно, не дело бранить общественное мнение – во всяком случае, вышедший через год второй роман Готорна, составивший данное издание, показывает, как можно это мнение не порицать, а менять. В этом смысле роман возвращает демократии ее подлинную суть: именно она может определить, где неправа судебная власть. Над судебной властью в этом романе производится двойной суд: несправедный и корыстный Пинчон погибает, а люди узнают полную хронику дома Пинчонов.

В конце концов оказывается, что только литература, построенная по правилам документального изыскания, и может снять родовое проклятие – ведь она показывает, что род не несет ответственности ни за давние, ни за продолжающиеся преступления – ведь худшим преступлением является его укрывательство. Родовое проклятие – это просто неудачный синоним невольного укрывательства, когда некоторые скелеты остаются в шкафу, и поэтому кажется, что проклят весь род. Но если каждый скелет будет подробно описан, то проклятие перестанет действовать и будет учрежден новый порядок, где дети (как те злые салемиские дети, оговаривавшие «ведунов» и «ведьм») не навязывают родителям грехи, но напротив, знают, что не следует притязать на все наследство рода.

В этом – лучшая сторона американской демократии: люди знают, что они вносят свой вклад в развитие страны, и поэтому не должны брать на себя ответственность за все ошибки страны, но могут исправлять их по мере сил. Проклятье сближает людей, и не случайно в романе больше всего его чувствуют брат и сестра, и чувствуют тем сильнее, чем больше общаются друг с другом. Возможность разорвать привычные родственные узы, влюбиться по своему усмотрению – это не просто личное освобождение, это и освобождение всей общины от некогда допущенных ошибок, не признанных вовремя ошибками.

Рассуждения Готорна о феномене проклятия неотделимы от проблемы человеческой судьбы. Глядя на тот самый дом с семью островерхими фасадами, автор размышлял, как

начальное проклятие не столько преследует отдельного человека, сколько создает инерцию преследования в судьбах многих людей. Дело не в том, виновны или невиновны жители городка, но в том, что инерция содеянного или единожды принятого зла оказывается именно чем-то, что аскеты называют «коснением во зле», и поэтому, только еще раз взбудоражив мир потустороннего ужаса, можно отучить людей быть косными и потому злыми.

Вот почему Лавкрафт считал, что Готорн – не столько мистик, сколько проповедник. Но как мы знаем, и проповедники возносятся до мистической высоты, иногда и быстрее мистика, долг которого – постоянно сдерживать свои порывы. Проповедника несет ввысь не столько какое-то слово, даже самое пламенное, сколько тоска по несбывшемуся, разочарование в людях, которые сделали столько зла, но от которых он не вправе отступить до самой смерти. Поэтому проповеднику и даются моменты истины, моменты прикосновения к настоящему духовному переживанию, тем звенящим таинственным сферам, где зло оказывается нарушителем уже разоблаченным. Правда, потом надо долго объяснять людям, почему зло не сводится к бытовому недовольству или гневу, каковы адские истоки давних конфликтов – и пока проповедник не справится с этим, он всего лишь рассказчик отдельных басен.

Таким образом, с точки зрения Лавкрафта, Готорн был не столько певцом ужаса, сколько, в отличие от Эдгара По, его внимательным свидетелем. Чувствительность Готорна, писал Лавкрафт, сдерживала его воображение, но требовала очень внимательно присматриваться к обстоятельствам происходящего. Это не бдительность караула, а, скорее, ранимость садовника, которому важно, чтобы не завял и не сломался ни один цветок, даже если этот цветок пугает, напоминая о быстротечности и эфемерности всех наших дел.

* * *

Тот самый Дом о Семи Шпилях, или Дом с Семью Фронтами, и ныне стоит в Салеме. Здесь Готорн часто беседовал с хозяйкой, своей двоюродной сестрой Сюзанной, об истории места и о городских слухах. Собственно говоря, именно новое осмысление слухов и отличает «Дом...» от «Алой буквы». Если прежде перед нами была добросовестная хроника, подробно рассказывавшая о поступках так, что мы понимали причины поступков, теперь все оказывалось иначе: мотивы героев понятны нам с самого начала, но до конца неясно – что и как именно происходит. Трудно сказать, читая этот американский готический роман, приложил ли Клиффорд руку к смерти Пинчона. Действительно, в тюрьме по несправедливому обвинению он провел тридцать лет, и потому мы примерно представляем, каким взглядом такой человек будет смотреть на судебные институты и на своих соседей. Но какие-то вещи все же принадлежат неопределенности: что не задокументировано, о том мы не можем говорить уверенно.

В этом смысле Готорн предвосхитил принцип «ненадежного рассказчика» Генри Джеймса, большого поклонника и почитателя Готорна: мы знаем, о чем рассказывается, но до конца не понимаем, что именно произошло. В конце концов, как сказал Витгенштейн, нужно молчать о том, о чем ты не можешь сказать. Но задолго до австрийского философа Готорн показал, что распространять слухи или верить слухам – значит всего лишь болтать, а не говорить, всего лишь испытывать социальную жизнь на прочность, а не понимать ее закономерности – так, как это может, например, автор хорошего романа.

Что же мы почувствуем сегодня, читая, вероятно, лучший готический роман в истории американской литературы? Прежде всего, конечно же, традицию древнегреческой трагедии, в которой грех предков, кража или убийство, сказывается на нескольких поколениях потомков. Само название романа напоминает о Семерых против Фив, и действительно, тени Эгисфа или Эдипа вполне вырисовываются за основателем рода Пинчонов и Мэтью Моулом. Но там, где в трагедии была кровная месть и беспрекословная воля богов, в романе – распад личности, за которым следует физическая смерть. Распад личности (психолог назвал бы его диссоциа-

цией) – это не просто двоение намерений или разрешение себе чего-то недопустимого, это попытка утвердить себя в вечности незаконными способами: гибель одного из проклятых под собственным портретом – блестящий художественный образ, иллюстрирующий подобную гордыню. Если смотреть на себя как на портрет, можно разучиться отвечать за свои поступки. Возможность исследования механизмов возникновения преступной личности, и не из-за попустительства или дурного влияния, как в психологическом романе, и не из-за дефицита моделей аристократического поведения, завещанных историей, как в европейском готическом романе, а из-за сатанинской гордыни – вот что составляет непревзойденную особенность готического романа Нового Света.

Но есть и вторая сторона романа «Дом о Семи Шпилях», не менее существенная для нас сегодня. Мы видим невероятное по точности исследование паники, игры на опережение, стремления избежать своей судьбы. В древнегреческой трагедии уйти от судьбы было нельзя. Христианин Готорн, общавшийся с Эмерсоном, Торо и последователями Фурье в Новой Англии, показывает, что в панике некоторые герои от судьбы не уходят, а некоторые – все же уходят. Пуритане сказали бы: это потому, что одни свыше предназначены к гибели, а другие – к спасению. Но Готорн поправляет догмат пуритан: это потому, что некоторые люди верны друг другу не только в радости и печали, но и в панике. В этом романе Готорна предвосхищает прозу XX века, где испытания верности стали просто невероятными, а вместе с тем невероятно изменилась и сама природа романа.

Александр Марков, профессор РГГУ и ВлГУ

Дом о Семи Шпилях

Часть первая

Глава I Старый род Пинчонов

В одном из городов Новой Англии стоит посреди улицы старый деревянный дом с семью остроконечными шпилями, или, лучше сказать, фронтисписами, расположенными по направлению к разным странам света, вокруг тяжелой трубы. Улица называется Пинчоновой, дом тоже называется Пинчоновым домом, и развесистый вяз, стоящий перед входом, известен каждому мальчишке в городе также под именем Пинчонова вяза. Когда мне случается бывать в этом городе, я почти всякий раз непременно заверну в Пинчонову улицу, чтобы пройти в тени этих двух древностей – раскидистого дерева и избитого бурями дома.

Вид этого почтенного здания производил на меня всегда такое впечатление, как человеческое лицо: мало того что я видел на его стенах следы внешних бурь и солнечного зноя, они говорили мне о долгом кипении человеческой жизни в их внутреннем пространстве и о превратностях, которым подвергалась их жизнь. Если бы рассказать нам о ней со всеми подробностями, так она бы составила повесть не только интересную и поучительную, но и замечательную сверх того и некоторым единством, которое, пожалуй, могло бы показаться делом художника. Но такая история обняла бы цепь событий, протянутую почти через два столетия, а подробности ее наполнили бы толстый том или такое количество томиков в двенадцатую долю листа, какое едва ли было бы благоразумно посвятить летописям всей Новой Англии в течение подобного периода. Поэтому нам необходимо как можно более сжать предания о старом Пинчоновом доме, иначе называемом Домом о Семи Шпилях. Мы приступим к развитию настоящего действия нашей повести в эпоху не очень отдаленную от нашего времени, а покамест расскажем в кратком очерке обстоятельства, посреди которых положено было основание дому, и бросим беглый взгляд на его странную наружность и на его почерневшие – особенно от восточного ветра – стены, по которым местами проступила уже, так же как и на кровле, мшистая зелень. Однако же повесть наша будет иметь связь с делами давно минувших дней, с людьми, нравами, чувствами и мнениями, почти совершенно забытыми. Если нам удастся передать все это читателю в достаточной ясности, то он увидит, как много старого материала входит в самые свежие новинки человеческой жизни. Мало того, он выведет важное нравоучение из маловажной истины, что дела прошедшего поколения суть семена, которые могут и должны дать добрый или дурной плод в отдаленном будущем, что вместе с временными посевами, которые обыкновенно называются средствами к жизни, люди неизбежно сеют растения, которым предназначено развиваться и в их потомстве.

Дом о Семи Шпилях, несмотря на свою видимую древность, не был первым обиталищем, какое построил цивилизованный человек на этом самом месте. Пинчонова улица носила прежде более смиренное название переулка Моула, по имени своего первоначального поселенца, мимо хижины которого шла тропинка, проторенная коровами; естественный источник чистой и вкусной воды – редкое сокровище на морском полуострове, где была расположена пуританская колония, – заставил Мэтью Моула построить свою хижину с косматой соломенной кровлей на этом месте, нужды нет, что оно было слишком удалено от того, что называлось

тогда центром деревни. Когда же, лет через тридцать или сорок, деревня разрослась в город, это место, занятое грубо сколоченной лачугой, чрезвычайно как приглянулось одному статному и сильному человеку, который и предъявил благовидные притязания на владение как этим участком, так и обширной полосой окрестных земель, в силу пожалования ему оных от правительства. Этот претендент был полковник Пинчон, известный нам по нескольким чертам характера, которые сохранены преданием, как человек энергичный и непреклонный в своих намерениях. Мэтью Моул, со своей стороны, несмотря на низкое свое звание, тоже отличался особенным упорством в защите того, что он почитал своим правом, и в течение нескольких лет был в состоянии отстаивать один или два акра земли, которые он собственными руками очистил от первоначального леса под усадьбу. Нам неизвестен ни один письменный документ, касающийся этой тяжбы. Сведения наши обо всем событии основаны большею частью на предании. Поэтому было бы слишком смело и, пожалуй, несправедливо делать решительное заключение о законности или незаконности действий обеих сторон, хотя, впрочем, предание оставило под сомнением, не перешел ли полковник Пинчон за границу своих прав, чтобы присвоить себе небольшое владение Мэтью Моула. Это подозрение подтверждается всего более фактом, что спор между двумя столь неравными противниками – и притом в период, когда личное влияние имело гораздо больше весу, нежели ныне, – оставался несколько лет нерешенным и окончился только смертью владельца оспариваемого участка земли. Род смерти его также поражает ум иначе в наше время, нежели полтора столетия назад. Он придал незнатному имени владельца хижины какое-то ужасное значение, так что после казалось делом весьма отважным вспахать небольшое пространство, занятое его жилищем, и изгладить след этого жилища и память о нем в народе.

Старый Мэтью Моул, одним словом, был казнен за колдовство. Он был одной из жертв этого ужасного суеверия, которое, между прочим, доказывает нам, что в старинной Америке сословия сильные, стоявшие во главе народа, разделяли в такой же степени всякое фанатическое заблуждение своего века, как и самая темная чернь. Духовенство, судьи, государственные сановники – умнейшие, спокойнейшие, непорочнейшие люди своего времени – громче всех одобряли иногда кровавое дело, и последние сознавали себя жалко обманутыми. Столько же мрачную сторону поведения их составляет странная безразборчивость, с которой они преследовали не только людей бедных и дряхлых – как это было в более отдаленные времена, – но и лиц всех званий, преследовали равных себе, преследовали собственных братьев и жен. Неудивительно, если посреди такой мешанины несчастный человек, столь незначительный, как Моул, очутился на месте казни, почти незамеченный в толпе своих товарищей по участи. Но впоследствии, когда миновал фанатизм этой эпохи, вспомнили, как громко полковник Пинчон вторил общему крику, чтобы участок земли был очищен от колдовства. Говорили втихомолку и о том, что он имел свои причины добиваться с таким ожесточением осуждения Мэтью Моула. Каждому было небезызвестно, что несчастный протестовал против жестокости личной злобы своего преследователя и объявил, что его, Моула, ведут на смерть из-за его имущества. В минуту самой казни – когда ему уже надели петлю на шею, в присутствии полковника Пинчона, который, верхом на коне, смотрел с угрюмым видом на ужасную сцену, – Моул обратился к нему с эшафота и произнес предсказание, точные слова которого сохранены как историей, так и преданиями у домашнего очага. «Бог, – сказал умирающий, указывая пальцем и вперив злобный взгляд в бесчувственное лицо своего врага, – Бог напоит его моею кровью!»

По смерти мнимого чародея убогое его хозяйство сделалось легкой добычей полковника Пинчона. Но когда разнесся слух, что полковник намерен построить себе дом – обширный, крепко срубленный из дубовых брусьев дом, рассчитанный на много поколений вперед, – на месте, которое прежде было занято лачугой Мэтью Моула, деревенские кумовья часто покачивали между собой головами. Не выражая положительно сомнения в том, чтобы могущественный пуританин действовал добросовестно и справедливо, во время упомянутого нами про-

цесса они, однако, намекали, что он хочет строить свой дом над могилой, не совсем покойной. Дом его будет заключать в своих стенах бывшее жилище повешенного колдуна, следовательно, даст некоторое право духу Мэтью Моула разгуливать по новым покоям, где будущие молодые четы устроят свои спальни и где будут рождаться на свет потомки Пинчона. Ужас и отвращение, внушаемые преступлением Моула, и страшное воспоминание о его казни будут омрачать свежую штукатурку стен и заранее сообщат им запах старого, печального дома. Странно, что, имея в своем распоряжении столько земли, усеянной листьями девственных еще лесов, полковник Пинчон выбрал для своей усадьбы именно это место!

Но пуританин-воин и вместе судья был не такой человек, чтобы отказаться от своего обдуманного плана из страха привидений или из пустой чувствительности, каково бы ни было ее основание. Если б ему сказали о вредном воздухе, это, пожалуй, еще сколько-нибудь подействовало бы на него; что же до злого духа, то он готов был сразиться с ним во всякое время. Одаренный массивным и твердым смыслом, как кусок гранита, и укрепленный сверх того, как железными связями, непоколебимой стойкостью в своих намерениях, он, что бы ни задумал, оставался до конца верен своему замыслу, не допуская и мысли, чтобы можно было возражать против него. Что касается до деликатности или какой-нибудь щекотливости, происходящей от утонченного чувства, то полковник был совершенно к ним неспособен. Итак, ничто не мешало ему рыть погреб и закладывать глубоко основания своего дома на том самом месте, которое несколько десятков лет назад Мэтью Моул очистил впервые от лесных листьев. Замечательно – а по мнению некоторых, даже знаменательно – обстоятельство, что не успели работники приняться за дело, как упомянутый выше источник совершенно потерял прекрасные свойства своей воды. Были ли его водяные жилы нарушены глубиной нового погреба или здесь скрывалась более таинственная причина, только известно, что вода в Моуловом источнике, как продолжали называть его, сделалась жесткой и солоноватой. Она и до сих пор остается такой, и каждая старуха в соседстве будет уверять вас, что от нее зарождаются разные внутренние болезни.

Странно, может быть, покажется читателю, что хозяин плотников, работавших над новым домом, был не кто иной, как сын того самого человека, у которого отнята была его собственность. Вероятно, он был лучший мастер в свое время, а может быть, полковник считал нужным – или подвигнут был каким-нибудь лучшим чувством – отвергнуть при этом случае всю вражду свою против следующего поколения павшего соперника. Впрочем, такова была спекулятивность тогдашнего века, что сын готов был заработать честные деньги – или, лучше сказать, порядочное количество фунтов стерлингов – даже у смертельного врага своего отца. Как бы то ни было, только Томас Моул был архитектором Дома о Семи Шпилях и исполнил свое дело так честно, что дубовая постройка, сооруженная его руками, держится до сих пор.

Итак, огромный дом был выстроен. Сколько я его помню, он всегда был стар, а я помню его с детства: он уже и тогда был предметом моего любопытства, как лучший и прочнейший образец давно прошедшей эпохи и вместе как сцена происшествий, исполненных интереса, может быть, гораздо в большей мере, нежели приключения серых феодальных замков; он всегда был для меня древним домом, и потому мне очень трудно представить блеск новизны, когда впервые его озарило солнце. Впечатление настоящего его положения, до которого дошел он в течение ста шестидесяти лет, неизбежно будет омрачать картину, в какой мы бы желали представить себе наружность дома в то утро, когда пуританский магнат зазвал к себе в гости весь город. В доме должно было совершиться освящение вместе с праздником новоселья. После молитвы и проповеди почтенного мистера Гиггинсона и после пения псалма соединенными голосами собрания для чувств более грубых готовилось обильное возлияние пива, сидра, вина и водки, и, как известно было кое от кого, надобно было ожидать также зажаренного целиком быка или по крайней мере разрезанных искусно частей говядины в количестве, равном весом и объемом целому быку. Туловище козы, застреленной в двадцати верстах, доставило материал

для обширного паштета. Треска в шестьдесят фунтов, пойманная в заливе, разварена была в прекрасную уху. Словом, труба нового дома, выбрасывая на воздух кухонный дым, наполняла всю окрестность ароматом говядины, дичи и рыбы, обильно приправленных душистыми травами и луком, так что один уже запах такого праздника, долетая до каждого носа в городе, был вместе и приглашением, и возбуждением аппетита.

Переулок Моулов, или, как его называли теперь гораздо великолепнее, Пинчонова улица в назначенный час была наполнена народом; каждый, подойдя к дому, осматривал снизу доверху величавое здание, которое с этого времени должно было занять свое почетное место между жилищами всего рода. Оно несколько удалилось от черты улицы, но скорей из гордости, нежели из скромности. Весь фасад его был украшен странными фигурами, произведением грубой готической фантазии, вылепленными выпукло или вырезанными на блестящей штукатурке из глины, кремней и битого стекла, которая одевала деревянную работу стен. По всем углам семь остроконечных фронтонов со шпилями возносились к небу и представляли вид целой семьи строений, дышавшей посредством одной огромной трубы. Многочисленные перегородки в окнах, со своими мелкими, вырезанными алмазом стеклами, пропускали солнечный свет в залу и в другие покои, между тем как второй этаж, высовываясь вперед над первым, бросал тень и меланхолическую мрачность в нижние комнаты. Деревянные шары, украшенные резьбой, были прикреплены под выступами верхнего этажа. Небольшие железные спирали украшали каждый из семи спилей. На треугольнике шпиля, глядевшего на улицу, в то же самое утро укреплены были солнечные часы, на которых солнце показывало все еще первый светлый час истории, которой не суждено было продолжаться так же светло. Вокруг дома земля была еще завалена щепками, обрезками дерева, досками и битым кирпичом; все это, вместе с недавно взрытой почвой, которая не успела еще порости травой, усиливало впечатление странности и новизны, какое производит на нас дом, не совсем еще занявший свое место в повседневной человеческой жизни.

Главный вход, почти равнявшийся шириной церковной двери, находился в углу между двумя передними шпилями и был прикрыт открытым портиком, под которым устроены были скамейки. И вот под сводом этого дверного навеса, задевая ногами за необтертый еще порог, прошли церковный причт, старейшины конгрегации, судьи и все, что было аристократического в городе или в околотке. Туда же повалили и плебейские сословия, с такой же свободой, как и их старшины, только в гораздо большем числе. Впрочем, в доме, у самого входа, стояли двое слуг, указывая некоторым гостям дорогу в соседнюю кухню и пропуская других в лучшие комнаты. Гостеприимство здесь оказывалось всем, но со строгим наблюдением высшего или низшего звания каждого. В ту эпоху бархатные одежды – мрачного цвета, но богатые, – густо сложенные брыжи и банты, шитые перчатки, почтенные бороды и выражение повелительности в лице давали возможность легко отличать знатного господина от купца с его хлопотливой наружностью или от ремесленника в его кожаной жакетке, боязливо пробирающегося в дом, который он, может быть, сам помогал строить.

Одно обстоятельство, не предвещавшее ничего доброго, возбудило в некоторых, более нежели другие щекотливых посетителях с трудом скрываемое неудовольствие. Основатель этого великолепного дома – джентльмен, известный своей строго размеренной и тяжелой учтивостью, – должен был, согласно с обычаем, непременно стоять в своей зале и первый приветствовать каждого из множества важных гостей, почтивших своим присутствием его торжественный праздник. Но он до сих пор не показывался, и самые дорогие из его гостей все еще не видели его. Такая грубость со стороны полковника Пинчона сделалась еще загадочнее, когда второе по значению лицо в провинции, явившись в дом, также не удостоилось более почтительного приема. Лейтенант-губернатор, несмотря на то что его визит был самым желанным украшением праздника, слез со своего коня, помог своей леди спуститься с ее дамского седла, перешагнул через порог полковникова дома и встречен был только главным служителем.

Эта особа – седой человек, спокойной и весьма почтенной наружности, – сочла нужным объяснить знатному гостю, что господин его еще не выходил из своего кабинета или особенного покоя, куда он с час назад удалился, отдав приказание, чтоб его ни под каким видом не беспокоили.

– Разве ты не видишь, любезный, – сказал главный шериф графства, отведя слугу в сторону, – что это ни больше ни меньше как сам лейтенант-губернатор? Доложи тотчас полковнику Пинчону! Я знаю, что он сегодня получил из Англии письма, и за ними для него, пожалуй, час пролетит незаметно. Но он, я уверен, будет досадовать, если ты допустишь его выказать невежливость перед одним из главных наших начальников, который, за отсутствием губернатора, представляет, можно сказать, особу самого короля Вильгельма. Доложи тотчас твоему господину!

– Не могу, с позволения вашей милости, – отвечал слуга в большом смущении, но с твердостью, которая ясно обнаруживала строгость домашней дисциплины полковника Пинчона. – Полковник отдал самые точные приказания, а вашей милости известно, что он не терпит в своих слугах ни малейшего неповиновения. Пускай кто угодно отворит эту дверь, только это буду не я, хоть бы мне приказал сам губернатор!

– Полно, полно, господин главный шериф! – вскричал лейтенант-губернатор, который слышал предшествовавший разговор и не боялся уронить свое достоинство. – Я возьму на себя это дело. Пора уже доброму полковнику выйти к друзьям, иначе мы готовы подумать, что он слишком усердно отвел своего канарийского, выбирая, какую бочку лучше начать в честь нынешнего дня! Но так как он уж чересчур запоздал, так я сам ему напомню о гостях!

С этими словами он зашагал по полу с таким шумом, что его можно было слышать в отдаленнейшем из семи спилей, подошел к двери, на которую указывал слуга, и потряс ее половинки громким, бесцеремонным стуком. Потом, оглянув с улыбкой собрание, он застыл в ожидании ответа. Но так как ответа никакого не было, он постучал снова, только и на этот раз результат был тот же. Тогда лейтенант-губернатор, будучи несколько холерического сложения, взял тяжелую рукоятку своей шпаги и загремел ею так сильно в дверь, что, по словам присутствовавших, которые при этом перешептывались между собою, грохот ее мог бы разбудить и мертвого. Как бы то ни было, но на полковника Пинчона он не произвел никакого возбуждательного действия. Когда умолкнул стук, в доме царило глубокое, страшное, тяготившее душу молчание, несмотря на то что у многих гостей языки поразвязались уже одной или двумя рюмками вина или спиртных напитков, выпитыми не в зачет будущего угощения.

– Странно, право! Очень странно! – вскричал лейтенант-губернатор, переменяв свою улыбку на угрюмое выражение лица. – Но так как наш хозяин подает нам пример несоблюдения приличий, я тоже отложу их в сторону и без церемоний войду в его особую комнату!

Он повернул ручку – дверь уступила его руке и вдруг отворилась настежь внезапно ворвавшимся ветром, который, подобно долгому вздоху, прошел от наружной двери чрез все проходы и комнаты нового дома. Он зашелестел шелковыми платьями дам, взвевял на воздух длинные кудри джентльменских париков и заколыхал занавесями у окон и постельными шторами спален, произведя везде странное трепетание, которое было еще поразительнее тишины. Неопределенный ужас от какого-то страшного предчувствия пал на душу каждого из присутствовавших.

Несмотря на это, гости поспешили к отворенной двери, тесня вперед, в нетерпеливом своем любопытстве, самого лейтенанта-губернатора. При первом взгляде они не заметили ничего чрезвычайного. Это была хорошо убранная комната, умеренной величины, немного мрачная от занавесок, на полках стояли книги, на стене висели большая карта и, как можно было догадаться, портрет полковника Пинчона, под которым сидел сам оригинал в дубовых покойных креслах, с пером в руке. Письма, пергамены и чистые листы бумаги лежали перед ним на столе. Он, казалось, смотрел на любопытную толпу, впереди которой стоял лейте-

нант-губернатор; брови его были нахмурены, и на его смуглом, массивном лице заметно было неудовольствие, как будто он сильно оскорбился вторжением к себе гостей.

Небольшой мальчик, внук полковника, единственное человеческое существо, которое осмеливалось фамильярничать с ним, протеснился в эту минуту сквозь толпу гостей и побежал к сидевшей фигуре; но, остановившись на половине дороги, он поднял крик испуга. Гости, вздрогнув все разом, как листья на дереве, подступили ближе и заметили в пристальном взгляде полковника Пинчона ненатуральное выражение, на его манжетах видны были кровавые пятна, и серебристая борода его была также обрызгана кровью. Поздно было уже оказывать помощь. Жестокосердый пуританин, неутомимый преследователь, хищный человек с непреклонной волей был мертв – мертв в своем новом доме! Предание, едва ли стоящее упоминания, потому что оно придает оттенок суеверного ужаса сцене, может быть, и без него уже довольно мрачной, – предание утверждает, будто бы из толпы гостей раздался чей-то громкий голос, напомнивший последние звуки голоса старого Мэтью Моула, казненного колдуна: «Бог напоил его моею кровью!»

Так-то рано смерть – этот гость, который непременно явится во всякое жилище человеческое, – перешагнула через порог Дома о Семи Шпилях!

Внезапный и таинственный конец полковника Пинчона наделал в то время много шума. Довольно было разных толков – некоторые из них, довольно туманные, дошли до наших дней – о том, что по всем признакам он умер насильственной смертью, что на горле у него замечены были следы пальцев, а на измятых манжетах – отпечаток кровавой руки и что его остроконечная борода была включена, как будто кто-то, крепко схватив, теребил ее. Принято было также в соображение, что решетчатое окно подле кресел полковника было на ту пору отворено и что только за пять минут до рокового открытия замечена была человеческая фигура, перелезавшая через садовую ограду позади дома. Но было бы нелепо придавать какую-нибудь важность этого рода историям, которые непременно возникнут вокруг всякого подобного происшествия и которые, как и в настоящем случае, иногда переживают целые столетия, подобно грибам-поганьшам, указывающим место, где свалившийся и засохший ствол дерева давно уже превратился в землю. Что касается, собственно, нас, мы придаем им так же мало веры, как и басне о костяной руке, которую будто бы видел лейтенант-губернатор на горле полковника, но которая исчезла, когда он сделал несколько шагов вперед по комнате. Известно только, что несколько докторов медицины проводили долгую консультацию и жарко спорили о мертвом теле. Один, по имени Джон Сниппертон – особа, по-видимому, весьма важная, – объявил, если только мы ясно поняли его медицинские выражения, что полковник умер от апоплексии. Каждый из его товарищей предлагал особенную гипотезу, более или менее правдоподобную, но все они облекали свои мысли в такие темные, загадочные фразы, которые должны были свести с ума неученого рассматривателя их мнений. Уголовный суд освидетельствовал тело и, состоя из людей особенно умных, произнес заключение, против которого нечего было сказать: «Умер скоропостижно».

В самом деле, трудно предполагать, чтобы здесь было серьезное подозрение в убийстве или малейшее основание обвинять какое-нибудь постороннее лицо в злодеянии. Сан, богатство и почетное место, какое занимал покойник в обществе, были достаточными побуждениями для производства самого строгого следствия при всяком сомнительном обстоятельстве. Но так как документы не говорят ни о каком следствии, можно основательно думать, что ничего подобного не существовало. Предание, которое часто сохраняет истину, забытую историей, но еще чаще передает нам нелепые современные толки, какие в старину велись у домашнего очага, а теперь наполняют газеты, – предание одно виной всех противоположностей в показаниях. В надгробном – после напечатанном и уцелевшем доньине – слове почтенный мистер Гиггинсон между разными благополучиями земного странствия сановитого своего прихожанина упомянул о тихой, благовременной кончине. Покойник исполнил все свои обязанности: его юное

потомство и грядущий род утверждены им на незыблемом основании и поселены под надежным кровом на целые столетия, – какая же еще оставалась высшая ступень для этого доброго человека, кроме конечного шага с земли в золотые небесные врата? Нет сомнения, что благочестивый проповедник не произнес бы таких слов, если б он только подозревал, что полковник переселен в другой мир рукой убийцы.

Семейство полковника Пинчона в эпоху его смерти, по-видимому, было так обеспечено на будущее время, как только это возможно при непостоянстве всех дел человеческих. Весьма естественно было предполагать, что с течением времени благосостояние его скорее увеличится, нежели придет в упадок. Сын и наследник его не только вступил в непосредственное владение богатым имением, но – в силу одного контракта с индейцами, подтвержденного впоследствии общим собранием директоров, – и имел притязание на обширное, еще не исследованное и не приведенное в известность пространство восточных земель. Эти владения – их почти можно уже было назвать этим именем – заключали в себе большую часть так называемого графства Вальдо в штате Мэн и превосходили объемом многие герцогства в Европе. Когда непроходимые леса уступят место – как это и должно быть неизбежно, хотя, может быть, через многие сотни лет – золотой жатве, тогда они сделаются для потомков полковника Пинчона источником несметного богатства. Если бы только полковник пожил еще неделю, то, весьма вероятно, что он своим политическим значением и сильными связями в Америке и в Англии успел бы подготовить все, что было необходимо для полного успеха в его притязаниях. Но, несмотря на красноречивое слово доброго мистера Гиггинсона по случаю кончины полковника Пинчона, это было единственное дело, которого покойник – при всей своей предусмотрительности и уме – не мог осуществить окончательно. По отношению к будущему этих земель он, бесспорно, умер очень рано. Сыну его не только недоставало высокого места, какое занимал в обществе его отец, но и способностей и силы характера, чтобы достигнуть этого места. Поэтому он не мог ни в чем успеть посредством своего личного влияния на дела, а простая справедливость или законность была совсем не так очевидна после смерти полковника, как при его жизни. Из цепи доказательств потеряно было одно звено – одно только, но его нигде нельзя было теперь найти.

Пинчоны, однако, не только на первых порах, но и в разные эпохи всего следующего столетия отстаивали свою собственность. Прошло уже много лет, как права полковника были забыты, а Пинчоны все еще продолжали справляться с его старой картой, начерченной еще в то время, когда графство Вальдо было непроходимой пустыней. Где старинный землемер изобразил только леса, озера и реки, там они намечали расчищенные пространства, чертили деревни и города и вычисляли возрастающую прогрессивно ценность территории.

Впрочем, в роду Пинчонов в каждом поколении появлялась какая-нибудь личность, одаренная частью твердого, пронизательного ума и практической энергии, которые так отличали старого полковника. Его характер можно было изучать во всей нисходящей линии потомков с такой же точностью, как если бы сам он, несколько только смягченный, по временам снова появлялся на земле. Уже во время упадка рода Пинчонов было две или три эпохи, когда наследственные свойства их появились во всей яркости, так что городские кумовья шептались между собой: «Опять показался старый Пинчон! Теперь Семь Шпилей засияют снова!» От отца к сыну все Пинчоны привязаны были к родовому дому с замечательным постоянством. Впрочем, разные причины и разные, слишком неясные для изложения на бумаге впечатления заставляют автора думать, что многие – если не большая часть наследственных владельцев этого имения – смущались сомнениями насчет своего владения им. О законности владения тут не могло быть и вопроса, но тень дряхлого Мэтью Моула – от эпохи казни его до нынешнего времени – тяжело налегала на совесть каждого Пинчона.

Мы уже сказали, что не беремся проследить, событие за событием, всю историю Пинчонов в непрерывной ее связи с Домом о Семи Шпилях, не беремся также изображать, как бы в магических красках, старость и дряхлость, нависшие над самим домом. Что касается жизни

внутри этого почтенного здания, то в одной из комнат всегда висело большое, мутное зеркало и, по баснословному преданию, удерживало в своей глубине все образы, какие только когда-либо отражались в нем, – образы самого полковника и множества его потомков. Некоторые из них были в старинной детской одежде, другие – в цвете женской красоты, или в мужественной молодости, или в сединах пасмурной старости. Если бы тайна этого зеркала была в нашем распоряжении, то нам бы только стоило сесть напротив него и переносить его образы на свои страницы. Но предание, которому трудно найти какое-нибудь основание, гласит, что потомство Мэтью Моула имело тоже какую-то связь с таинствами зеркала и могло посредством какой-то месмерической процедуры наполнить всю его внутреннюю область покойными Пинчонами – не в том виде, в каком представлялись они людям, не в лучшие и счастливейшие часы их, но в кризисе жесточайшей житейской горести. Народное воображение долго было занято делом старого пуританина Пинчона и колдуна Моула – долго вспоминали предсказание с эшафота, делая к нему разные прибавления, и если у кого-нибудь из Пинчонов случалось только першение в горле, то уже его сосед готов был шепнуть другому на ухо полушутя-полусерьезно: «Он мучится кровью Моулов!» Внезапная смерть одного из Пинчонов, лет сто назад, с обстоятельствами, напоминавшими конец полковника, принята была за подтверждение справедливости общепринятого мнения об этом предмете. Сверх того неприятным и зловещим казалось обстоятельство, что изображение полковника Пинчона – в исполнение, как говорили, его духовного завещания – оставалось неприкосновенным на стене той комнаты, в которой он умер. Эти суровые неумолимые черты, казалось, символизировали грустную судьбу дома.

Впрочем, Пинчоны существовали более полутора столетия, подвергаясь, по-видимому, меньшим бедствиям, нежели большая часть других современных им фамилий Новой Англии. Отличаясь свойственными только им особенностями, они, несмотря на это, запечатлены были общим характером небольшого общества, среди которого жили. Родной их город известен был своими воздержными, скромными, порядочными и приверженными к домашнему очагу обитателями, так же как и ограниченностью их чувств, но зато надо сознаться, что в нем встречались такие странные личности и необыкновенные приключения, какие едва ли случалось вам видеть и слышать где-нибудь. В войну с Англией Пинчоны той эпохи, поддерживая сторону короля, должны были бежать с родины; но потом явились опять в отечество, чтобы спасти от конфискации Дом о Семи Шпилях. В течение последних семидесяти лет самое замечательное событие в семейной хронике Пинчонов было в то же время и самым тяжким бедствием, какому только когда-либо подвергался их род, именно: насильственная смерть – по крайней мере, так о ней думали – одного из членов семейства от руки другого. Некоторые обстоятельства этого ужасного события решительно заставляли считать убийцей племянника погибшего Пинчона. Молодой человек был допрошен и обвинен в преступлении; но или показания не были вполне убедительны, так что в душе судей осталось тайное сомнение, или один из аргументов обвиненного – его знатность и обширные связи – имел больше веса, только смертный приговор его был переменен на постоянное заключение. Это печальное событие случилось лет за тридцать до того момента, в который начинается действие нашей истории. В последнее время носились слухи (которым верили немногие и которые живо интересовали разве что одного или двух человек), что будто бы этот, столь давно погребенный заключенный по той или другой причине был вызван на свет из своей могилы.

Кстати сказать здесь несколько слов о жертве этого, теперь почти забытого убийства. Это был старый холостяк, имевший большой капитал, независимо от дома и поместья, оставшихся от старинного имени Пинчонов. Будучи эксцентрического и меланхолического характера, любя рыться в старых рукописях и слушать старинные предания, он, как уверяют, дошел до заключения, что Мэтью Моул, колдун, потерял жизнь и имущество совершенно несправедливо. Когда он в этом убедился, как утверждали знавшие его ближе других, он решительно принял намерение отдать Дом о Семи Шпилях представителю потомства Мэтью Моула, и только

тревога, возбужденная между его родней одной догадкой о такой мысли старика, помешала ему привести в исполнение это намерение. Он не успел в своем предприятии, но после его смерти осталось опасение, не существует ли где-нибудь его духовное завещание, составление которого старались предупредить при его жизни. По смерти старика его хоромы, вместе с большей частью других богатств, достались в наследство ближайшему законному родственнику.

Это был племянник, кузен молодого человека, обвиненного в убийстве дяди. Новый наследник, до самого вступления своего во владение именем слыл за большого повесу, но теперь исправился и сделался самым почтенным членом общества. Действительно, он обнаружил в себе многие свойства полковника Пинчона и достиг большого значения в свете, нежели кто-либо из его рода со времен старого пуританина. Занявшись во второй уже поре молодости изучением законов и чувствуя природную склонность к гражданской службе, он долго работал в каком-то второстепенном присутственном месте, и это наконец доставило ему на всю жизнь важный сан судьи. Потом полюбил он политику и два раза заседал в конгрессе. Независимо от того, что он представлял таким образом довольно значительное звено в обеих отраслях законодательства Соединенных Штатов, судья Пинчон, бесспорно, был украшением своего рода. Он выстроил себе деревенский дом в нескольких милях от родного города и проводил в нем все время, остававшееся ему от служебных занятий, в гостеприимном общении и в добродетелях, свойственных христианину, доброму гражданину и джентльмену.

Но из Пинчонов оставались в живых немногие, которые могли воспользоваться плодами благоденствия судьи. В отношении естественного приращения поколение их сделало мало успехов; скорее можно сказать, что оно вымерло, нежели приумножилось. Состоявшие налицо члены фамилии были: во-первых, сам судья и его единственный сын, путешествовавший по Европе; во-вторых, тридцатилетний уже заключенный, о котором мы говорили выше, и сестра его, жившая чрезвычайно уединенной жизнью в Доме о Семи Шпилях, который достался ей в пожизненное владение по завещанию старого холостяка. Ее считали совершенно нищей, и она, по-видимому, сама избрала себе такой жребий, хотя кузен ее, судья, не раз предлагал ей все удобства жизни или в старом доме, или в своем новом жилище. Наконец, последняя и самая юная представительница Пинчонов – молоденькая деревенская девушка лет семнадцати, дочь другого кузена судьи, женатого на молодой незнатной и бедной женщине и скончавшегося рано при бедственных обстоятельствах. Вдова его недавно вышла в другой раз замуж.

Что касается до потомства Мэтью Моула, то оно почиталось уже полностью вымершим. Впрочем, после общего заблуждения насчет колдовства Моула долго еще продолжали жить в городе, где предок их принял смерть. По всему видно, что это был народ спокойный, честный и благомыслящий и что ни отдельные лица, ни общество не замечало в нем никакой злобы в себе за нанесенную ему обиду. Если же у домашнего очага Моулов и переходили от отца к сыну воспоминания о судьбе мнимого чародея и потере их наследства, то враждебное чувство, возбужденное этими воспоминаниями, не отражалось ни в каком их поступке и никогда не высказывалось открыто. Неудивительно было бы, если б они и совсем перестали вспоминать, что Дом о Семи Шпилях покоился на почве, принадлежавшей их предку. Моулы таили свои неудовольствия в глубине души. Они постоянно должны были бороться с бедностью, постоянно принадлежали к классу простолюдинов, добывали себе скудное пропитание трудами рук своих, работали на пристанях или плавали по морям, нанявшись матросами, жили то в одном, то в другом конце города в наемных лачугах и под конец жизни переселялись в богадельню, как в убежище для их старости. Наконец, после долгого блуждания вдоль и поперек житейского их ничтожества, они канули на дно и исчезли навеки, что, впрочем, рано или поздно предстоит каждому. В течение последних тридцати лет ни в городских актах, ни на могильных камнях, ни в народных переписях, ни в воспоминаниях частного человека – нигде не появлялось никакого следа потомков Мэтью Моула. Может быть, потомки его и существуют где-нибудь, но только в

этом месте мелкое течение его рода, которое мы проследили до такой глубокой старины, перестало протекать наружным потоком.

Пока не исчезли представители рода Моулов, они отличались от других людей – не резко, не чертою, бросавшаяся в глаза каждому, когда легче чувствовать, чем выразить их отличие, оно состояло в наследственно-осторожном характере. Приятели их – или, по крайней мере, желавшие быть их приятелями – убеждались, что Моулы обведены были чародейским кругом, за черту которого, при всей наружной их откровенности и дружелюбии, никто посторонний не мог проникнуть. Может быть, эта-то неопределимая особенность их характера, удалив их от людской помощи, постоянно и держала их в такой низкой доле. Она, без сомнения, поддерживала и подтверждала в отношении к ним эти чувства суеверного страха, с которыми горожане, даже и протрезвившись уже от фанатизма, продолжали смотреть на все, что напоминало им мнимого колдуна, – такое грустное оставил он им наследство! Мантия, или, лучше сказать, изорванный плат, Мэтью Моула накрыла детей его: по мнению горожан, они наследовали таинственные его свойства, – и не один был убежден, что глава их одарен странной силой. Между другими отличиями в особенности им был приписан дар мутить сон ближних.

Нам остается написать еще пункт или два о семишпильном доме в его ближайшем к нашему времени виде, и введение наше будет кончено. Улица, на которой возвышаются его почтенные пики, давно уже перестала слыть лучшею частью города, так что хотя старое здание было окружено новыми домами, но все они были большею частью невелики, построены только из дерева и отмечены, так сказать, мозольным однообразием жизни простолюдинов. Что касается древнего здания – театра нашей драмы, – то его дубовый сруб, его доски, гниль, осыпающаяся мало-помалу штукатурка и громадная труба посреди кровли составляют только самую ничтожную и малую часть его действительности. В его стенах люди столько извели разнообразных опытов, в нем столько страдали, а иногда и радовались, что и самое дерево как будто пропиталось ощущениями сердца. Дом этот в наших глазах есть огромное сердце со своею самостоятельной жизнью, со своими приятными и мрачными воспоминаниями.

Выступ второго этажа придавал дому такой размышляющий вид, что невозможно было пройти мимо него, не подумав, что он заключает в себе много тайн и философствует над какою-то повестью, полной необыкновенных приключений. Перед ним, на самом краю немощеного тротуара, растет Пинчонов вяз, который в сравнении с деревьями, какие мы обыкновенно встречаем, может назваться решительно великаном. Он был посажен праправнуком первого Пинчона, и хотя ему теперь лет восемьдесят, а может быть, и сто, но он еще только что достиг сильной и крепкой возмужалости и бросает свою тень от края до края улицы; он поднялся даже над семью шпилями и треплет по всей почерневшей кровле дома своими густыми листьями. Вяз этот придает красоту старому зданию и как бы делает его частью природы. Улица в последние сорок лет значительно расширена против прежнего, так что теперь передовой фронтон приходится как раз по черте ее. По обе его стороны идет полуразрушенная деревянная ограда, состоящая из прозрачной решетки, сквозь которую виден зеленый двор, а по углам подле здания растет в необыкновенном изобилии камыш, листья которого, без преувеличения сказать, длиной в два или три фута. Позади дома тянется сад, некогда, как видно, обширный, но теперь стесненный другими оградами или домами и разными постройками другой улицы. Было бы упущением, маловажным, конечно, однако ж непростительным, если б мы позабыли упомянуть еще о зеленом мхе, который давно уже укоренился на выступах окон и на откосах кровли. Нельзя также не обратить внимание читателя на купы – не камыша, но цветочного кустарника, который рос высоко в воздухе недалеко от трубы, в углу между двух шпилей. Эти цветы прозваны были Букетом Алисы. Какая-то Алиса Пинчон, по преданию, посеяла там для забавы семена, и когда набившаяся в щели гниющего гонта пыль образовала на кровле род почвы, из семян мало-помалу вырос целый куст цветов, к тому времени Алиса давно уже лежала в могиле. Как бы, впрочем, ни попали туда эти цветы, только грустно и вместе приятно наблю-

дать, как природа присвоила себе этот опустелый, разрушающийся, поражаемый беззащитно ветром и обрастающий пустынной зеленью старый дом Пинчонова семейства и как с каждым возвращающимся летом она старается всячески скрасить его дряхлую старость и как бы тоскует о безуспешных своих усилиях.

Есть еще одна весьма важная черта, которой нельзя оставить без внимания, но которая – этого мы сильно опасаемся – может повредить всему живописному и романтическому впечатлению, которое мы старались произвести на читателя этим почтенным зданием. В передовом шпиле, как мы называем узко заостренные кверху фронтоны, под нависшим челом второго этажа, выходила прямо на улицу дверь лавки, разделенная горизонтально посередине, с окном в верхнем ее отрезе, какие часто можно видеть в домах старинной постройки. Эта дверь причиняла немало горя нынешней обитательнице величавого Пинчонова дома, равно как и некоторым из ее предшественников. Неприятно упоминать столь щекотливый момент, но так как читателю необходимо знать эту тайну, то пусть он имеет в виду, что лет сто назад тогдашний представитель Пинчонов находился в плохих денежных обстоятельствах. Этот господин, величавший себя джентльменом, был едва ли не какой-нибудь самозванец, потому что, вместо того чтобы искать службы у короля или у его губернатора либо хлопотать о своих землях, он не нашел лучшего пути к поправлению своих обстоятельств, как прорубить дверь для лавки в стене своего наследственного жилища. У купцов действительно был обычай складывать товары и производить торговлю в собственных своих обиталищах, но в торговых операциях этого представителя старых Пинчонов было что-то мелочное. Соседи толковали, что он собственными руками, как они ни были убраны манжетами, давал сдачи с шиллинга и переворачивал раза два полпенни, чтоб удостовериться, не фальшивый ли он. Нечего и доказывать, что в его жилах текла, по-видимому, кровь какого-то мелкого торгаша.

После его смерти дверь лавочки немедленно была закрыта на крючки, задвинута засовами, прижата болтами и до самого момента, в который начинается наша история, вероятно, ни разу не была отперта. Старая конторка, полки и другие поделки мелочной лавки остались в том самом виде, как были при нем. Иные даже утверждали, что покойный лавочник, в белом парике, полинялом бархатном кафтане, в переднике, подвязанном вокруг перехвата, и в манжетах, бережно отвернутых назад, каждую ночь – видно было сквозь щели в створах лавочной двери – рылся в своем выдвигном ящике для денег или перелистывал исчерканные листы записной книги. Судя по выражению неопишуемого горя на его лице, можно было подумать, что он осужден целую вечность сводить свои счета, но никогда не свести их.

Теперь мы можем приступить к началу нашей повести – началу самому смиренному, как это читатель тотчас увидит.

Глава II Окно мелочной лавочки

Оставалось еще с полчаса до восхода солнца, когда Гефсиба Пинчон – мы не хотим сказать «проснулась»: сомнительно еще, смыкала ли бедная леди глаза в течение короткой летней ночи, – но, во всяком случае, встала со своей одинокой постели и начала одеваться. Мы далеки от неприличного желания присутствовать, даже и воображением, при туалете одинокой леди. Поэтому наша история должна дождаться мисс Гефсибы на пороге ее комнаты; мы позволим себе до тех пор упомянуть только о нескольких тяжелых вздохах, которые вылетели из ее груди, не обнаруживая в вздыхавшей ни усилия скрыть горестную глубину их, ни старания уменьшить их звучность, тем более что их никто не мог слышать, кроме такого слушателя, как мы. Старая дева жила одна в старом доме – одна, кроме некоего достойного уважения и благонаправленного художника-дагеротиписта, который уже месяца три занимал квартиру в отдаленном шпиле – почти отдельном доме, можно сказать, с защипками, болтами и дубовыми засо-

вами у всех смежных дверей, следовательно, заунывные вздохи бедной мисс Гефсибы туда не долетали. Не долетали они также и ни до какого смертного уха, но по всеобъемлющей любви и милосердию на отдаленных небесах слышна была молитва, то произносимая шепотом, то выражаемая вздохом, то затаенная в тяжкое молчание, постоянно взывавшая о божественной помощи в этот день! Очевидно было, что этот день был более, нежели обыкновенный день испытания для мисс Гефсибы, которая в течение почти четверти столетия жила в строгом уединении, не принимая никакого участия в делах окружавшей ее жизни, равно как и в связях и удовольствиях общества.

Старая дева окончила свою молитву. Теперь она уж верно переступит через порог нашей повести? Нет, она еще долго не покажется. Она сперва выдвинет каждый ящик в огромном, старомодном бюро; это будет сделано не без труда и произведет скрип, раздражающий уши. Потом она задвинет их с теми же потрясающими нервы звуками. Вот слышен шелест плотной шелковой материи, слышны шаги взад и вперед по комнате. Мы догадываемся далее, что мисс Гефсиба стала на стул, чтобы удобнее осмотреть себя вокруг, во всю длину своего платья, в овальном туалетном зеркале, которое висит в резных деревянных рамах над ее полом. В самом деле, кто бы это подозревал! Возможно ли тратить драгоценное время на утренний наряд и на украшение своей старой особы, которая никогда не выходит из дому, к которой никто не заглядывает и с которой, при всех ее туалетных заботах, нельзя поступить милосерднее, как устремив глаза в другую сторону?

Вот она почти готова. Простим ей еще одну паузу – она была сделана для единственного чувства, или, лучше сказать, для сильной страсти ее жизни, до такой степени тоска и одиночество разгорячили и сосредоточили в ней это чувство. Мы слышим поворот ключа в небольшом замке; она отворила секретный ящик в письменном столе и, вероятно, смотрит на миниатюру, писанную искусной кистью Мальбона и представляющую лицо, достойное столь изящной кисти. Нам посчастливилось, однако, видеть этот портрет. То было изображение молодого человека в шелковом старомодном шлафроке, богатая мягкость которого очень шла к этому мечтательному лицу с его полными, нежными губами и прелестными глазами, которые, казалось, обнаруживали в оригинале не столько способность мыслить, сколько склонность к нежному и страстному волнению сердца. О том, кому принадлежали такие черты, мы не имеем никакого права разузнавать, мы только желали бы, чтоб он прошел легко по трудной дороге жизни и был в ней счастлив. Не был ли он некогда обожателем мисс Гефсибы? Нет! У нее никогда не было обожателя – бедняжка, куда ей! Она даже не знала, по собственному опыту, что значит слово «любовь». И однако же ее неослабевающая вера в оригинал этого портрета, ее вечно свежая память о нем, ее постоянная преданность ему были единственной пищей, какой жило ее сердце.

Она, по-видимому, положила назад миниатюру и стоит опять перед зеркалом. Отирает слезы. Еще несколько шагов взад и вперед, и наконец – с другим жалобным вздохом, подобным порыву холодного, сырого ветра из случайно отворенной двери долго запертого подвала, – мисс Гефсиба Пинчон является к нам! Она выходит в темный, почернелый от времени коридор – высокая фигура в черном шелковом платье с длинной узкой талией – и ищет дорогу на лестницу, как близорукая, что в самом деле и было.

Между тем солнце, не показываясь еще на горизонте, поднималось ближе и ближе к его краю. Легкие облака, плывя высоко над ним, впитали уже в себя частицу его первоначального света и отражаются его золотым блеском на окнах целой улицы, не забывая и Дома о Семи Шпилях, который весело встречал восход солнца – сколько раз он уже видел его! Отраженный солнечный свет помогает нам рассмотреть очень ясно устройство комнаты, в которую вошла Гефсиба, спустившись по лестнице. Комната довольно низкая, с перекладинами под потолком, стены ее обиты потемневшею деревянной резьбой, в ней стоит огромная, с расписанными изразцами, печь, в которую вделан новейший камин. На полу разостлан ковер, некогда богато

вытканый, но до того изношенный и полинявший в последнее время, что его прежде яркие фигуры превратились в пятна неопределенного цвета, в числе мебели стоят здесь два стола: один – чрезвычайно многосложный, напоминающий своими бесчисленными ножками стонога; другой, собственно чайный стол, сделан гораздо изящнее и имеет только четыре высокие и легкие ножки, по-видимому, до такой степени непрочные, что почти невероятно, как может держаться на них этот чайный стол с такого давнего времени; вокруг комнаты расставлено полдюжины стульев, прямых, твердых и так искусно приносивших к неудобному расположению на них человеческой фигуры, что на них даже смотреть больно. Исключение составляет только очень древнее кресло с высокой спинкой, покрытой тщательной резной работой по дубу, и с просторной глубиной между ручек, которая своим объемом вознаграждает опускающегося в них за недостаток художественных изгибов, какими снабжены новейшие кресла.

Из украшений комнаты мы укажем только на два, если только можно назвать их украшениями. Одно составляет карта Пинчоновых владений в Восточной Америке, начерченная рукой какого-то искусного старинного топографа и грубо разрисованная изображениями индейцев и диких зверей, в числе которых помещен и лев, так как естественная история страны была известна в то время не больше ее географии, а географические сведения о ней состояли из самых фантастических нелепостей. Другое украшение – портрет старого полковника Пинчона в две трети роста. Он представляет грубые черты глядящей пуританином фигуры, в шишаке, с кружевной фрезой на шее и с серебристой бородою; в одной руке держит он Библию, а в другой – железную рукоятку шпаги, и эта последняя принадлежность его особы, изображенная художником удачнее прочих, бросается в глаза всего резче.

Войдя в комнату, мисс Гефсиба Пинчон остановилась, лицом к лицу, против этого портрета и смотрела на него с особенной какой-то угрюмостью, с каким-то странным выгибом бровей, который человек, незнакомый с нею, вероятно, истолковал бы как выражение горькой досады и ненависти. Но, в сущности, не было ничего подобного; в сущности, она чувствовала почтение к изображению старого пуританина, к какому только была способна отдаленная от него несколькими поколениями родства и престарелая дева. Этот отталкивающий, нахмуренный вид ее был невинным следствием ее близорукости и старания сосредоточить силу зрения так, чтобы созерцаемый предмет представился ей в ясных очертаниях вместо неопределенного образа.

Остановимся на минуту на этом несчастном выражении глаз бедной Гефсибы, ее надутость – как несправедливо выражался в своих суждениях о ней свет или та часть его, которой случайно удавалось поймать ее взгляд в окне, – ее надутость очень много вредила ей в общем мнении, которое приписывало ей характер сердитой старой девы. Весьма вероятно также, что часто и сама она, глядя в мутное зеркало и всегда встречая в его волшебном пространстве свои нахмуренные брови, истолковывала выражение своего лица почти так же несправедливо, как и другие. «Как я сегодня пасмурна!» – шептала, я думаю, она сама с собою, и наконец малопомалу бедняжка убедилась, что ей уж суждено быть таким нахмуренным существом. Но ее сердце никогда не хмурилось. Оно было от природы нежно, чувствительно, часто подвержено небольшим волнениям и трепету, и все эти свойства остались в нем до сих пор, хотя лицо ее сделалось суровым и даже злым. Самые резкие порывы этого сердца были действием только самых горячих чувств его.

Но мы, однако, все еще боязливо медлим у входа в нашу историю. Признаемся, нам очень тяжело, очень стеснительно развязывать то, что станет сейчас делать мисс Гефсиба Пинчон.

Выше уже сказано, что в нижнем этаже шпиля, обращенного к улице, один предок ее лет сто назад устроил лавочку. С того самого времени, как старый джентльмен, оставив свою торговлю, уснул вечным сном под гробовой крышкою, не только лавочная дверь, но и внутреннее устройство ее оставлено без всяких переделок. Вековая пыль легла толстым слоем на полках и конторке, наполнила отчасти чашки весов, как будто и она стояла того, чтоб ее взвешивать,

и набилась в полуотворенный ящик конторки, где до сих пор лежала одна фальшивая шестипенсовая монета, стоившая меньше даже, чем всякая медная монета. Лавочка была точно в таком же виде и во времена далекого детства Гефсибы, когда она и ее брат играли в жмурки в этом заброшенном углу дома, и ничего в ней не переменялось до настоящего момента.

Но теперь, несмотря на то что окно лавочки все еще было плотно закрыто занавеской от наблюдений прохожих, в ней произошла значительная перемена. Широкие тяжелые фестоны паутины, устройство которых стоило постоянных трудов многочисленным поколениям пауков, были старательно обметены с потолка. Конторка и полки были выметены, а пол, сверх того, высыпан свежим песком. Потемневшие весы также носили признаки старательного возобновления, только напрасны были усилия отчистить ржавчину, которая везде глубоко въелась в металл. В старой мелочной лавочке было теперь довольно разных торговых снадобий. Любопытный глаз, который бы захотел рассмотреть товары и заглянул за конторку, открыл бы там бочонок, даже два или три бочонка, из которых в одном содержалась мука, в другом – яблоки, а в третьем, может быть, рис. Тут же был четырехугольный сосновый ящик с кусками мыла, а другой, такой же, с сальными свечами по десяти на фунт. Небольшой запас темного сахара, бобы, сухой горох и разные другие дешевые предметы торговли, на которые было постоянное требование, составляли основу запасов лавочки. Можно бы суеверно подумать, что все это уцелело еще от времен старого лавочника Пинчона, только многие из предметов были такого свойства и наружности, что едва ли их можно отнести к его времени. Например, тут была конфетная стеклянная ваза с «гибралтарскими кремнями» – не с настоящими осколками фундамента славной крепости, но с кусками сладкого леденца, красиво завернутыми в бумажки, кроме того, известный всем американским детям паяц Джим-Кро из пряника выделял здесь свои чудесные прыжки. Отряд свинцовых драгунов галопировал вдоль одной полки, причем в мундирах новейшего покроя; тут же было и несколько сахарных фигурок, очень мало похожих на людей какой бы то ни было эпохи, но все-таки более напоминавших моды нашего времени, нежели моды старинного века. Но в особенности бросалась в глаза своей новизной пачка фосфорных спичек, внезапное воспламенение которых в старину как раз бы приписали действию нечистой силы.

Словом сказать, по всему было видно, что кто-то занял лавочку с товарами давно не существующего и позабытого мистера Пинчона и готов был возобновить торговые обороты покойника с новым поколением покупателей. Кто бы мог быть этим смелым аферистом? И зачем он из всех мест на свете выбрал Дом о Семи Шпилях поприщем своих торговых спекуляций?

Возвратимся за объяснением этого недоумения к старой деве. Она наконец отвела свои глаза от мрачной физиономии полковникова портрета, вздохнула опять – грудь ее в это утро была настоящею пещерой Эола, – прошла через комнату на цыпочках, как это очень обыкновенно у старых девушек, пробралась далее смежным коридором и отворила дверь в лавочку, только что описанной нами так обстоятельно. Выступ верхнего этажа и еще более густая тень Пинчонова вяза, который стоял почти прямо против этого шпиля, до того сгущали здесь темноту, что утренний полусвет в лавочке похож был на сумерки. Мисс Гефсиба еще раз вздохнула от глубины души и помедлила с минуту на пороге, всматриваясь в окно с нахмуренными от близорукости бровями, как будто перед ней стоял какой-нибудь враг, и вдруг порхнула в лавочку; ее торопливость и как бы гальваническая быстрота движений были действительно поразительны.

Она с нервическим беспокойством – можно почти сказать, в каком-то исступлении – принялась приводить в порядок разные детские игрушки и другие мелочи на полках и на окне лавочки. Эта одетая в черное, бледнолицая, похожая на знатную госпожу фигура запечатлена была глубоко трагическим характером, который резко противоречил мелочности ее занятия. Странная аномалия: худошавая, печальная женщина берет в руки детскую игрушку; удиви-

тельно, как эта игрушка не исчезает от одного ее прикосновения! Не жалкая ли мысль – мучить свой рассудок над тем, как бы искусить мальчишек своими приманками? А между тем именно такова была ее цель. Вот она выставляет на окне пряничного слона, но рука ее так дрожит, что слон падает на пол и теряет три ноги и хобот; теперь он уже более не слон, а просто несколько кусков черствого пряника. Далее она опрокинула банку с мраморными шариками. Все они покатались в разные стороны, и как будто враждебная сила гнала каждый шарик в самые темные углы лавочки. Когда Гефсиба становится на колени для поисков раскатившихся шариков, мы решительно чувствуем, что к нашему сердцу подступают слезы сострадания. Эта женщина исполнена истинно печального интереса, какой только случается нам замечать в ком-либо посреди суматохи жизни, и если мы не заставим читателя почувствовать это, то виноваты будем все-таки мы, а не предмет нашего рассказа. В бедняжке зрел тяжелый кризис. Леди, с колыбели воспитанная в понятиях о своей важности и богатстве, с колыбели убежденная в ложной мысли, что стыдно такой знатной особе трудиться для своего содержания, – эта леди после шестидесятилетней борьбы с оскудевающими все более и более средствами принуждена наконец снизойти с пьедестала своей знатности. Бедность, гнавшаяся за ней по пятам всю жизнь, настигла наконец ее. Она должна зарабатывать себе на хлеб насущный или умереть!

Открыть мелочную лавочку было бы почти единственным средством для каждой женщины в обстоятельствах нашей несчастной затворницы. При своей близорукости и с этими дрожащими пальцами, негибкими и вместе с тем изнеженными, она не могла быть швеей, хотя шитье ее лет пятьдесят тому назад представляло лучшие образцы женских украшений. Часто ей приходило в голову открыть школу для маленьких детей, и однажды она принялась было перечитывать свои давнишние уроки в «Новом английском букваре» с намерением приготовиться к должности наставницы. Но любовь к детям никогда не была слишком живым чувством в сердце Гефсибы, теперь же притупилась больше прежнего, если не угасла навеки. Она наблюдала из окна своей комнаты соседских детей и сомневалась, что была способна переносить близкое с ними знакомство. Кроме того, в наше время и сама азбука сделалась такой философской наукой, что нельзя уже изучать ее, показывая указкой от буквы до буквы. Нынешний ребенок скорее бы научил мисс Гефсибу, нежели старая Гефсиба научила бы ребенка. Таким образом, после многих замираний сердца при мысли пойти в неприятное столкновение со светом, от которого она так долго держалась в отдалении, тогда как с каждым новым днем затворничества новый камень прикатывался ко входу в ее пещеру, бедняжка вспомнила наконец о старинном окне лавочки, о заржавленных весах и пыльной конторке. Она бы медлила еще долее, но одно обстоятельство, еще неизвестное читателю, ускорило ее решимость. Она печально сделала свои приготовления, и предприятие получило наконец начало. Нельзя даже сказать, чтоб она могла жаловаться на замечательную особенность своей судьбы, потому что в родном ее городе можно указать на несколько подобных лавочек. Некоторые из них открыты в таких же старинных домах, как и Дом о Семи Шпилях, и в одной или даже в двух лавочках обедневшая знатная старушка представляет за конторкой такой же хмурый образ, как и сама мисс Гефсиба Пинчон.

Нельзя было откладывать долее неизбежной минуты. Солнце кралось уже по фронтому противоположного дома; отраженные оконными стеклами лучи его, пробиваясь сквозь ветви вяза, освещали внутренность лавочки более прежнего. Город пробуждался. Тачка хлебника уже стучала по мостовой, прогоняя последние остатки ночной тишины нестройным звяканьем своих колокольчиков. Молочник развозил от двери до двери кувшинчики, и вдали за углом был слышен пронзительный свисток рыбака. Ни один из этих признаков пробуждения города не ускользнул от наблюдения Гефсибы. Роковая минута наступила. Откладывать долее значило бы только продлить свое страдание. Ей оставалось только отнять железный запор от двери лавочки и предоставить свободный вход каждому прохожему, которому приглянется что-нибудь из выставленных в окне предметов, и не только свободный, но и желанный, как

будто все проходящие были близкими друзьями дома. Гефсиба совершила наконец и этот последний подвиг. Стук упавшего запора поразил ее возбужденные нервы, как самый странный грохот. Тогда, как будто между ней и светом рушилась последняя преграда и поток бедствий готов был хлынуть в ее дверь, она убежала во внутреннюю комнату, бросилась в кресло предков и заплакала.

Бедная Гефсиба! Как тяжело писателю, который желает изобразить верными чертами и красками натуру в ее различных положениях и обстоятельствах, ведь так много ничтожного должно быть непременно примешано в чистейший пафос, предоставляемый ему жизнью! Какое, например, трагическое достоинство можно придать этакой сцене? Каким образом опозитизировать нам нашу историю когда мы принуждены выводить на сцену в качестве главного действующего лица не молодую, пленительную женщину, не даже поразительные остатки красоты, разрушенной горестями, но высохшую, желто-бледную, похожую на развалину девушку в старомодном шелковом платье и с каким-то странным тюрбаном на голове! Даже лицо ее не безобразно до романтичности, оно бросается в глаза только сдвинутыми от близорукости бровями, и, наконец, испытание ее жизни состоит в том, что после шестидесятилетней жизни она сочла необходимым обеспечивать себе содержание, открыв мелочную лавочку. Если мы бросим взгляд на все героические приключения человеческого рода, то везде откроем такое же, как здесь, смешение чего-то мелочного с тем, что есть благороднейшего в радости и горе. Жизнь человеческая составлена из мрамора и тины, и без глубокой веры в неизъяснимую любовь небесную мы бы могли видеть на железном лице судьбы только ничем не смягчаемую суровость. Но так называемый поэтический взгляд в том именно и состоит, чтобы различать в этом хаосе странно перемешанных стихий красоту и величие, которые принуждены облекаться в отталкивающее рублище.

Глава III

Первый покупатель

Мисс Гефсиба Пинчон сидела в дубовом кресле, закрыв лицо руками и предавшись сердечному унынию, которое испытал на себе едва ли не каждый, кто только решался на важное, но сомнительное предприятие. Вдруг она была потрясена громким, резким и нестройным звоном колокольчика. Леди встала, бледная, как мертвец при пенье петуха, – она была словно заколдованный дух, повиновавшийся звонку, как талисману. Колокольчик этот, говоря просто, был прикреплен таким образом, что стальная пружина заставляла его звенеть и докладывать во внутренние помещения дома о приходе покупателя. Неприятный голосок его (раздавшийся теперь впервые, может быть, с того времени, как париконосный предшественник Гефсибы оставил торговлю) пробудил в каждом нерве ее тела тревожное сотрясение. Кризис ее наступил! Первый покупатель отворил дверь!

Не давая себе времени для другой мысли, она бросилась в лавочку. Бледная, глядящая дико, с отчаянием в приемах и выражении лица, пристально всматриваясь и, разумеется, хмурясь, она представляла фигуру, которая, по-видимому, скорее ожидала встретить вора, вломившегося в дом, нежели готова была стоять, улыбаясь, за конторкой и продавать мелочные товары за медные деньги. В самом деле, обыкновенный покупатель убежал бы от нее в ту же минуту. Но в бедном старом сердце Гефсибы не было ничего ожесточенного, в эту минуту она не питала в душе никакого горького чувства к свету вообще или к какому-нибудь мужчине или женщине в особенности. Она желала всем добра, но вместе с тем желала бы расстаться со всеми навеки и лежать в тихой могиле.

Между тем новоприбывший стоял в лавочке. Явившись прямо с утреннего света, он как будто внес с собой в лавочку часть его оживляющего действия. Это был стройный молодой человек двадцати одного или двух лет, с важным и чересчур для его лет задумчивым выраже-

нием лица, но вместе и с признаками юношеской живости и силы. Свойства эти не только проявлялись физически в его манерах и движениях, но и выказывались почти в ту же минуту и в его характере. Темная борода, не слишком мягкая, окаймляла его подбородок, не закрывая его совсем, при этом он носил небольшие усы, и эти природные украшения очень шли к его смуглому, резко очерченному лицу. Что касается его наряда, то он был как нельзя проще: летний пальто-мешок из дешевой и обыкновенной материи, узкие клетчатые панталоны и соломенная шляпа, вовсе не похожая на щегольскую. Весь этот костюм он мог купить себе на толкучем рынке, но он казался джентльменом, если только он имел на это какое-нибудь притязание, по своему замечательно чистому и тонкому белью.

Он встретил нахмуренный взгляд старой Гефсибы, по-видимому, без всякого испуга, как человек, знакомый уже с ней и знавший ее незлобивость.

– А, милая мисс Пинчон! – сказал дагеротипист, потому что это был упомянутый нами единственный жилец семишпильного дома. – Я очень рад, что вы не покинули своего доброго намерения. Я зашел только для того, чтоб от души пожелать вам успеха и узнать, не могу ли я помочь вам в ваших дальнейших приготовлениях.

Люди, находящиеся в затруднительных и горестных обстоятельствах или в раздоре со светом, способны выносить самое жестокое обращение и, может быть, черпать в нем новые силы, но они тотчас уступают самому простому выражению истинного участия. Так было и с бедной Гефсибой. Когда она увидела улыбку молодого человека, которая на его задумчивом лице засияла с особенной ясностью, и услышала ласковый его голос, она сперва засмеялась истерическим хохотом, а потом начала плакать.

– Ах, мистер Хоулгрейв! – сказала она, лишь только получила способность говорить. – Я никогда в этом не успею! Никогда, никогда, никогда! Я бы желала лучше не существовать и лежать в старом фамильном нашем склепе вместе с моими предками, с моим отцом и матерью, с моими сестрами, да, и с моим братом, которому было бы приятнее видеть меня там, чем здесь! Свет слишком холоден и жесток, а я слишком стара, слишком бессильна, слишком беспомощна!

– Поверьте мне, мисс Гефсиба, – спокойно сказал молодой человек, – что эти чувства перестанут смущать вас, лишь только вы сделаете первый успех в вашем предприятии. Теперь они неизбежны: вы появились на свет из вашего долгого затворничества и населяете мир мечтательными фигурами; но погодите – вы скоро увидите, что они так же неестественны, как великаны и людоеды в детских повестях. Для меня поразительнее всего в жизни то, что все в нем теряет свое кажущееся свойство при первом действительном нашем прикосновении. Так будет и с вашими страшилищами.

– Но я женщина! – сказала жалобно мисс Гефсиба. – Я хотела сказать, леди, но это уже не воротится.

– Так и не будем толковать об этом! – отвечал дагеротипист. – Забудьте прошедшее. Для вас будет лучше. Я говорю с вами откровенно, милая моя мисс Пинчон, мы ведь друзья? И считаю этот день одним из счастливейших в вашей жизни. Сегодня кончилась одна эпоха и начинается другая. До сих пор живая кровь постепенно охлаждалась в ваших жилах от сиденья в одиночестве в очарованном кругу, между тем как мир сражался с той или иной необходимостью. Теперь же у вас проявилось здоровое усилие к достижению полезной цели, теперь вы сознательно приготавливаете свои силы, как бы они ни были слабы, к деятельности. Это уже успех, успех для всякого, кто только будет иметь с вами дело! Позвольте же мне иметь удовольствие быть первым вашим покупателем. Я хочу прогуляться по морскому берегу, потом вернуться в свою комнату и примусь за злоупотребление благословенных лучей солнца, которые рисуют для меня человеческие лица. С меня довольно будет на завтрак нескольких вот таких сухарей, размоченных в воде. Сколько стоит полдюжины?

– Позвольте мне не отвечать на это! – сказала Гефсиба со старинной величавостью, которой меланхолическая улыбка придала некоторую грацию. Она вручила пришедшему сухари и отказалась от платы. – Женщина из дома Пинчонов, – сказала она, – ни в каком случае не должна под своей кровлею принимать денег за кусок хлеба от своего единственного друга!

Хоулгрейв вышел, оставив ее не в таком тягостном, как прежде, расположении чувств. Скоро, однако, они опять приняли прежнее состояние. С биением сердца Гефсиба прислушивалась к шагам ранних прохожих, которые стали появляться на улице все чаще. Раз или два шаги как будто останавливались, незнакомые люди или соседи, должно быть, рассматривали игрушки и мелкие товары, размещенные на окне лавочки Гефсибы. Она страдала: во-первых, от подавлявшего ее стыда, что посторонние и недоброжелательные глаза имеют право смотреть в ее окно, а во-вторых, от мысли, что окно не было убрано ни так искусно, ни так заманчиво, как могло бы быть. Ей казалось, что все счастье или несчастье ее лавочки зависело от выставки разных вещей или от замены лучшим яблоком другого, которое было в пятнах; и вот она принималась переставлять свои товары, но тут же находила, что от этой перестановки дело становилось хуже прежнего, она не замечала, что это происходило только от ее нервного расположения и от мнительности, которая все представляет в неблагоприятном виде.

Между тем у самой двери встретились двое мастеровых, как можно было заключить по грубым голосам их. Поговорив немного о своих делах, один из них заметил окно лавочки и сообщил об этом другому.

– Посмотри-ка! – вскричал он. – Что ты об этом скажешь? И на Пинчоновой улице завелась торговля!

– Да, да! Признаюсь, штука! – воскликнул другой. – В старом Пинчоновом доме и под Пинчоновым вязом! Кто бы этого ожидал? Старая девица Пинчон завела мелочную лавочку!

– А как ты думаешь, Дикси, пойдет у нее дело на лад? – спросил его приятель. – Помоему, это не слишком выгодное место. Тут за углом есть другая лавочка.

– Пойдет ли? – вскричал Дикси с таким выражением, как будто трудно было допустить и мысль об этом. – Куда ей! Она такая странная! Я видал ее, когда работал у нее в саду прошлым летом. Всякий испугается, если только вздумает торговаться с нею. То есть, я тебе говорю, просто нет мочи! Она ужасно хмурится, есть ли, нет ли за что... так, из одной злости.

– Что ж за беда? – заметил другой человек. – И я тоже скажу – куда ей! Держать мелочную лавочку не так-то легко: тут надобно хлопотать с толком, не то что в ином прочем месте. Это я знаю по своему карману. Жена моя держала мелочную лавку три месяца, да вместо барыша получила пять долларов убытку!

– Плохо дело! – отвечал Дикси таким тоном, по которому было видно, что приятели потрясли друг другу руки. – Плохо дело!

Трудно объяснить почему, только мисс Гефсиба во всех предшествовавших мучениях по случаю своей торговли едва ли испытывала более горькое чувство, нежели то, какое возбуждено было в ней было этим разговором. Свидетельство о ее нахмуренном взгляде имело для нее ужасную важность: с ее образа вдруг спала обманчивая оболочка, и он представился ей в таком виде, что у нее не хватало духу смотреть на него. Она была странно поражена неблагоприятным впечатлением, какое произвела открытая ею лавочка – предмет такого трепетного для нее интереса – на публику в лице этих двух ближайших ее представителей. Они только взглянули на нее в окно, молвили два слова мимоходом, засмеялись и, без сомнения, позабыли о ней, прежде чем повернули за угол. Предсказание неудачи, сделанное на основании опыта, пало на ее полумертвую надежду так тяжело, как падает земля на гроб, опущенный в могилу. Жена этого человека пробовала тот же промысел и понесла убытки. Как же может затворница в течение половины всей жизни, совершенно неопытная в житейских делах, – как может она мечтать об успехе, когда простолюдинка, расторопная, деятельная, бойкая уроженка Новой

Англии, потеряла пять долларов на своих мелочных товарах! Успех представлялся бедняжке невозможностью, а надежда на него – нелепым самообольщением.

Какой-то злобный дух, употребляя все усилия, чтоб обморочить Гефсибу, развернул перед ее воображением род панорамы, представляющей большой торговый город, населенный купцами. Какое множество великолепных лавок! Колониальные товары, игрушечные лавки, магазины материй, со своими огромными стеклами, с великолепными полками с правильной сортировкой товаров, посредством которых состояние растет ежеминутно, и эти благородные зеркала в глубине каждого магазина, удваивающие богатство их в прозрачной глубине своей! И в то время, когда с одной стороны улицы виден был ей этот роскошный рынок со множеством надушенных и лоснящихся купцов, улыбающихся, смеющихся, кланяющихся и меряющих материи, с другой представлялся мрачный Дом о Семи Шпилях, с устарелым окном лавочки под выступом верхнего этажа, и сама она, в платье из плотной шелковой материи, за конторкою, хмуриющаяся на проходящих мимо людей! Этот разительный контраст неотступно носился у нее перед глазами как самое красноречивое выражение невзгоды, при которой она решила бороться с нуждой за свое существование. Успех? Нелепость! Она никогда больше не станет ожидать его! Дом ее будет покрыт вечной мглой, в то время когда другие дома будут сиять в лучах солнца, и ни одна нога не переступит через ее порог, ни одна рука не решится отворить дверь!

Но в ту самую минуту, как она так думала, над головой Гефсибы зазвенел колокольчик, точно силой какого-то колдовства. Сердце старой леди как бы прикреплено было к той же самой стальной пружине, потому что и оно было резко потрясено несколько раз подряд, вторя звукам колокольчика. Дверь начала отворяться, хотя сквозь окно в ней не было заметно на наружной стороне никакой человеческой фигуры. Несмотря на то, Гефсиба всматривалась пристально, со сложенными руками.

«Господи, помоги мне! – воззвала она мысленно. – Испытание мое наступило!»

Дверь, повертывавшаяся с трудом на своих скрипучих заржавленных петлях, уступила наконец усилию входившего, и перед Гефсибой появился толстый мальчуган с красными, как яблоко, щеками. Он был одет в убогие лохмотья (что, как казалось, происходило скорее от беззаботности матери, чем от убожества отца). На нем были какой-то синий балахон, очень широкие и короткие штаны, башмаки со стоптанными каблуками и изношенная соломенная шляпа, сквозь дыры которой пробивались его курчавые волосы. Книжка и небольшая аспидная доска под мышкой показывали, что он был по дороге в школу. Он смотрел несколько мгновений на Гефсибу, как сделал бы и более взрослый покупатель, не зная, что ему думать о трагической позе и сурово нахмуренных бровях, с которыми она в него всматривалась.

– Что, дитя мое, – сказала она, приободрившись при виде столь неопасной особы, – что тебе надобно?

– Вот этого Джим-Кро, что на окне, – отвечал мальчуган, держа в руке медную монету и указывая на пряничную фигуру, которая ему приглянулась, когда он плелся по улице в свою школу. – Того, что с целыми ногами.

Гефсиба вытянула свою худую руку и, достав фигуру с окна, отдала покупателю.

– Не нужно денег, – сказала она, толкнув его слегка к двери, потому что ей казалось такой жалкой мелочностью – взять у мальчика его карманные деньги за кусок черствого пряника. – Не нужно денег, я дарю тебе Джим-Кро.

Ребенок, выпучив на нее глаза при этой неожиданной щедрости, которой он никогда еще не испытывал в мелочных лавочках, взял пряничного человека и отправился своей дорогой. Но едва очутился на тротуаре, как уже голова Джим-Кро была у него во рту. Так как он не позаботился притворить за собой дверь, Гефсиба должна была сделать это сама, причем не обошлось без нескольких сердитых замечаний о несносности молодого народа, в особенности мальчишек. Она тотчас поставила другого представителя славного рода Джим-Кро на окно,

как снова зазвенел громко колокольчик, опять отворилась дверь с характерным своим скрипом и дребезжанием, и опять показался тот же самый дюжий мальчуган, который не больше двух минут назад оставил лапочку. Крошки и краска от пиршества, которое он себе только что задал, были видны как нельзя явственнее вокруг его рта.

– Что тебе еще надо? – спросила новая лавочница с сильным нетерпением. – Ты воротишься затворить дверь, что ли?

– Нет, – отвечал мальчуган, указывая на фигуру, которая только что была выставлена в окне. – Дайте мне вон этого другого Джим-Кро.

– Хорошо, возьми, – сказала Гефсиба, доставая пряник, но, видя, что этот нахальный покупатель не оставит ее в покое, пока у нее в лавочке будут пряничные фигурки, она отвела в сторону свою протянутую руку и спросила: – Где же деньги?

Деньги у мальчика были наготове, только он, как природный янки, охотнее купил бы вещь повыгоднее. С некоторым сожалением он положил свою монету в руку Гефсибы и ушел из лавочки, отправив второго Джим-Кро той же дорогой, что и первого.

Новая торговка опустила первую свою выручку в денежный ящик. Дело совершилось. «Теперь, Гефсиба, ты уже не леди, ты просто Гефсиба Пинчон, одинокая старая дева, содержательница мелочной лавочки!»

И однако ж даже в то время, когда она обдумывала с некоторым тщеславием в своей голове такие мысли, в сердце ее поселилась какая-то тишина. Беспокойство и мрачные предчувствия, которые мучили ее во сне и во время дневных грез с самого того времени, как новый план жизни утвердился в ее уме, теперь исчезли совершенно. Правда, она все еще чувствовала новость своего положения, но уже без волнения и страха. Время от времени душа ее испытывала даже что-то похожее на радость. Это происходило от укрепляющего дыхания свежего наружного воздуха после однообразного затворничества. Так живительна деятельность, так дивна сила, которой мы часто сами в себе не чувствуем! Душевный жар, которого давно уже не знала Гефсиба, возродился в ней в момент кризиса, когда она впервые протянула руки, чтобы спасти себя. Небольшая медная монета школьника, несмотря на то что была истерта службою, какую она служила там и сям по свету, обратилась в благодетельный талисман, заслуживавший того, чтобы его оправить в золото и носить на груди. Талисман этот был так же могуществен и, может быть, одарен таким же существенным влиянием, как и гальваническое кольцо! Во всяком случае, Гефсиба была обязана незаметному его действию переменной, какую она чувствовала в теле и в душе, тем более что он внушил ей энергию позавтракать, причем она для поддержания своей бодрости подлила лишнюю ложечку крепительной влаги в свой черный чай.

Первый день ее нового быта не прошел, впрочем, без нескольких промежутков в этой возрождающейся силе. Когда миновало первое возбуждение от деятельности, апатия прежней ее жизни угрожала овладеть Гефсибой снова. Так густые массы облаков часто омрачают небо, распространяя повсюду серый полусвет; наконец, перед наступлением ночи, он на время уступает яркому сиянию солнца, но завистливые тучи постоянно стремятся закрыть небесную лазурь своими мутными массами.

До наступления полудня время от времени появлялись новые покупатели, но очень редко и в некоторых случаях, надо сказать, без удовольствия и для себя, и для Гефсибы; в ящик тоже не слишком много опущено было денег. Маленькая девочка, посланная матерью купить бумажных ниток известного цвета, взяла моток, который близорукой старой леди показался совершенно тем, какой был нужен, но скоро прибежала назад с сердитым наказом от матери, что нитки не того цвета, и притом совсем гнилые. Потом приходила бледная, измученная трудами женщина, еще не старая, но с суровым выражением лица и уже с проседью в волосах, наподобие серебристых лент, – одна из тех нежных от природы женщин, в которых вы тотчас узнаете страдальцу из-за нищеты и семейных огорчений. Ей нужно было несколько фунтов муки. Гефсиба молча отказалась от ее платы и дала ей лучшую меру муки, нежели если б

взяла деньги. Скоро после того явился мужчина в синем бумажном пальто, очень засаленном, и купил трубку, наполнив всю лавочку сильным запахом спиртуозных напитков, который не только вылетал на воздух в горячем его дыхании, но и струился изо всего его тела, подобно горючему газу. Гефсиба подумала: не муж ли это изнуренной трудами женщины? Он спросил папушу табаку, но так как она не позаботилась обзавестись этим товаром, ее грубый покупатель бросил на пол купленную им трубку и вышел из лавочки, бормоча какие-то слова, выражавшие, конечно, брань. Гефсиба подняла к небу глаза.

Не меньше пяти человек до обеда спрашивали имбирного пива, или кореновки, или другого крепительного напитка и, не находя ничего подобного, удалялись с величайшим неудовольствием. Трое из них бросили дверь открытой настежь, а двое, выходя, хлопнули ею так, что колокольчик разыграл настоящий дуэт с нервами Гефсибы. Однажды в лавочку ворвалась круглая, хлопотливая и раскрасневшаяся от кухонного огня служанка из соседнего дома, нетерпеливо спрашивая дрожжей, и когда бедная леди с холодной робостью объявила ей, что она дрожжей не держит, бойкая кухарка не задумалась прочитать ей наставление.

– Мелочная лавочка без дрожжей, – лепетала она, – да это настоящая невидальщина! Слыханное ли дело? Ну, не подняться же вашему тесту, как и моему сегодня. Лучше сейчас закройте лавочку.

– Да, да, – отвечала с глубоким вздохом Гефсиба, – это едва ли не было бы лучше.

Кроме этих неприятных случаев, щекотливость бедной Гефсибы была поражена фамильярным, если даже не грубым тоном, с каким к ней обращались покупатели. Они считали себя не только равными ей, но даже ее покровителями и старшими. Гефсиба бессознательно льстила себя надеждой, что особа ее будет отличена каким-нибудь особенным названием, которое бы выражало почтение к ней, или, по крайней мере, что это почтение будет высказываться молчаливо. Но, с другой стороны, ничто не мучило ее так жестоко, как чересчур резкое выражение этого почтения. Нескольким покупателям, слишком щедрым на участие, она отвечала очень отрывисто и сурово, а против одного, который, как ей показалось, зашел в лавочку не для покупок, а из злого желанья поглядеть на нее, она вооружилась даже презрением. Бедняге вздумалось посмотреть, что, дескать, там за барыня, что вздумала, растратив молодость вдали от людей, засесть уже в конце жизни за конторкой. На этот раз механически и бессознательно нахмуренные брови Гефсибы очень ейгодились.

– Никогда еще в жизни я не был так испуган! – говорил любопытный покупатель, описывая это приключение своему знакомцу. – Это настоящая старая ведьма, право слово, ведьма! Говорит-то она мало, но посмотрел бы ты, сколько злости у нее в глазах!

Вообще новый опыт жизни повел нашу Гефсибу к весьма неприятным заключениям касательно характера и нрава низших слоев общества, на которые она до сих пор смотрела благосклонными и сострадательными глазами, так как сама помещена была в сфере неоспоримо высшей. Но, к несчастью, она должна была бороться в то же время с сильным душевным волнением противоположного рода: мы разумеем чувство неприязни к высшему сословию, принадлежность к которому еще так недавно вызывало ее гордость. Когда какая-нибудь леди, в нежном и дорогом летнем костюме, с развевающейся вуалью и в изящно драпированном платье, одаренная притом такой эфирной легкостью, что вы невольно обратили бы глаза на ее изящно обутые ножки, как бы желая удостовериться, касается ли она праха или порхает по воздуху, – когда такое видение появлялось на ее уединенной улице, оставляя на ней после себя нежный, привлекательный аромат, как будто пронесли здесь букет китайских роз, нахмуренные брови старой Гефсибы едва ли можно было объяснять близорукостью.

И потом, устыдившись саму себя и раскаявшись, она закрывала руками свое лицо.

– Да простит меня Господь! – говорила она.

Приняв во внимание внутреннюю и внешнюю историю первой половины дня, Гефсиба начала опасаться, что лавочка повредит ей в нравственном отношении и едва ли принесет существенную пользу в отношении финансовом.

Глава IV День за конторкой

Около полудня Гефсиба увидела проходящего мимо по противоположной стороне побелевшей от пыли улицы пожилого джентльмена, дородного и крепкого, с замечательно важными манерами. Он остановился в тени Пинчонова вяза и, сняв шляпу, чтобы вытереть выступивший у него на лбу пот, рассматривал, по-видимому, с особенным любопытством обветшалый и старообразный Дом о Семи Шпилях. Сам он в своем роде смотрелся такой же почтенной стариной, как и этот дом. Нельзя было желать, да и найти было бы невозможно более совершенного образца респектабельности, которая каким-то неизобразимым волшебством выражалась не только в его глазах и жестах, но и в покрое платья, согласуя как нельзя больше костюм с его владельцем. Не отличаясь, видимо, никакой осязаемой особенностью от костюмов прочих людей, он носил на себе печать какой-то особой важности, которая происходила, вероятно, от характера самого носителя, так как невозможно было вывести ее ни из материала, ни из покроя. Палка его с золотым набалдашником – подержанный уже посох из черного полированного дерева – отличалась тем же характером, и если б только вздумала прогуляться по городу одна, то везде бы была признана достаточно удовлетворяющей представительницей своего господина. Этот характер, выражавшийся во всем его окружающем так ясно, как нет возможности передать это словами, говорил, однако, не более как только о его положении в свете, привычках жизни и внешних обстоятельствах. В нем тотчас видна была особа знатная и сильная, а что он сверх того еще и богат, это было так же ясно для всякого, как если б он показал банковские билеты или если б он перед вами коснулся ветвей Пинчонова вяза и превратил их в золото.

В молодости своей он, вероятно, был замечательно красивым человеком. Теперь брови его были так густы, виски так жидки, остатки его волос так серы, глаза так холодны и губы так тесно сжаты, что ни одной из этих принадлежностей нельзя было отнести к красоте наружности. Теперь бы из него вышел славный массивный портрет – лучший, может быть, нежели в который-нибудь из прежних периодов его жизни, хотя взгляд его, переносимый постепенно на полотно, сделался бы в живописи решительно суровым. Художник охотно стал бы изучать его лицо и испытывать способность его к разным выражениям, то омрачающим его угрюмостью, то озаряющим улыбкой.

Когда пожилой джентльмен стоял, глядя на Пинчонов дом, угрюмость и улыбка мелькали поочередно на его лице. Глаза его остановились на окне лавочки. Надев на нос оправленные в золото очки, которые держал в руке, он подробно рассматривал маленькую выставку игрушек и других товаров Гефсибы. Сперва она ему как будто не понравилась, даже причинила ему большое неудовольствие, но потом он засмеялся. Когда улыбка не оставила еще лица его, он заметил Гефсибу, которая невольно наклонилась к окну, и смех его из едкого и неприятного превратился в снисходительность и благосклонность. Он поклонился ей с достоинством и учтивой любезностью, очень счастливо сочетавшимися, и продолжил свою дорогу.

– Это он! – сказала сама себе Гефсиба. Подавляя самое глубокое волнение, она была не в состоянии освободиться от этого чувства и старалась скрыть его в сердце. – Желала бы я знать, что думает он об этом. Нравится ли это ему? А! Он оборачивается!

Джентльмен остановился на улице и, повернув вполовину назад голову, опять глядел на окно лавочки. Он даже повернулся совсем и сделал шаг или два назад, как бы с намерением зайти в лавочку, но случилось, что его предупредил первый покупатель мисс Гефсибы, истребивший негра Джим-Кро. Остановившись против окна, мальчуган, казалось, испытывал непо-

бедимую тягу к пряничному слону. Что за аппетит у него! Съел пару негров тотчас после завтрака, и теперь подавай ему слона вместо закуски перед обедом! Но прежде чем эта новая покупка была сделана, пожилой джентльмен отправился своим путем и повернул за угол улицы.

– Принимайте это, как вам угодно, кузен Джеффри! – бормотала про себя девушка-леди, когда он удалился, высунув, однако, сперва голову в форточку и осмотрев улицу в оба конца. – Принимайте, как вам угодно! Вы видели окно моей лавочки – что же? Что против этого можете вы сказать? Разве Пинчонов дом не моя собственность, пока я жива?

После этого Гефсиба удалилась в заднюю комнату, где она сегодня впервые принялась за недоплетенный чулок и начала работать с нервическими и неправильными ныряньями в него проволокою. Скоро, однако, работа ей наскучила, она бросила ее в сторону и начала ходить по комнате; наконец остановилась перед портретом мрачного старого пуританина, своего предка и основателя дома. В одном отношении это изображение почти вошло в холст и скрылось под вековой пылью, в другом – Гефсибе казалось, что оно не было яснее и выразительнее даже и во времена ее детства, когда она, бывало, рассматривала его. В самом деле, между тем как физические очертания и краски полуисчезли в нем для глаз зрителя, смелый, суровый и в некоторых случаях фальшивый характер оригинала, казалось, получил в этом портрете какую-то рельефность. Подобное явление случается нередко замечать в портретах отдаленного времени. Они приобретают выражение, которого художник (если только он был похож на угодливых художников нашей эпохи) никогда не думал придавать своему патрону как настоящую его характеристику, но которое с первого взгляда разоблачает перед нами истину души человеческой. Это значит, что глубокий взгляд художника во внутренние черты его субъекта выразился в самой сущности живописи и проявился тогда только, когда наружный колорит был изглажен временем.

Глядя на портрет, Гефсиба дрожала от действия глаз человека, запечатленного на портрете. Почтительность ее к этому изображению не позволяла ей производить в душе такого строгого суда о характере оригинала, какой внушало ей уразумение истины. Она продолжала, однако, смотреть на портрет, потому что это лицо давало ей возможность – по крайней мере, ей так казалось – вчитываться глубже в лицо, которое она только что видела на улице.

– Точь-в-точь как он! – бормотала она про себя. – Пускай себе Джеффри Пинчон смеется, сколько хочет, но под его смехом что-то скрывается. Надень только на него шишак, да фрезу, да черный плат и дай в одну руку шпагу, а в другую Библию, и – тогда пускай себе смеется Джеффри – никто не усомнится, что старый Пинчон явился снова! Он доказал это тем, что построил новый дом.

Так бредила Гефсиба под влиянием преданий старого времени. Она так долго жила одна, так долго жила в Пинчоновом доме, что и мозг ее проникнулся преданиями его. Ей надобно было пройтись по освещенной сиянием дня улице, чтоб освежиться.

Волшебным действием контраста в воображении Гефсибы явился другой портрет, написанный с самой смелой лестью, какую только позволял себе художник, но такими нежными красками, что сходство оттого нисколько не пострадало. Мальбонова миниатюра была писана с того же самого оригинала, но далеко уступала ее воздушному портрету, оживленному любовью и грустным воспоминанием. Тихий, нежный и радостно-задумчивый образ, с полными, алыми губами, готовыми к улыбке, о которой предупреждают нас глаза с приподнятыми слегка веками, – женские черты, слитые неразлучно с чертами другого пола! В миниатюре тоже есть эта особенность; так что нельзя не подумать, что оригинал был похож на свою мать, а она была любящая и любимая женщина, отличавшаяся, может быть, милой нетвердостью характера, который оттого делался еще привлекательнее и заставлял еще больше любить ее.

«Да, – думала Гефсиба с грустью, только самая малая часть которой выступила из ее сердца и показалась на глазах, – они преследовали в нем его мать! Он никогда не был Пинчоном!»

Но тут из лавочки зазвенел колокольчик; он показался ей бог знает в каком отдалении, так далеко зашла Гефсиба в погребальный склеп воспоминаний. Войдя в лавочку, она нашла там старика, смиренного жителя Пинчоновой улицы, с давнего времени удостаивавшего ее своими посещениями. Он был человек очень старый, его знали всегда седым и морщинистым, и всегда у него был только один зуб во рту, и то полуизломанный, спереди верхней челюсти. Как ни стара была Гефсиба, но она не помнила такого времени, когда бы дядя Веннер, как называли его соседи, не бродил взад и вперед по улице, немножко прихрамывая и тяжело волоча свою ногу по булыжникам мостовой. Но в нем всегда было столько сил, что он был в состоянии не только держаться целый день на ногах, но и занимать место, которое без того сделалось бы вакантным при всей видимой населенности мира. Отнести письмо, ковыляя на дряхлых ногах, которые заставляли сомневаться, достигнет ли он когда-нибудь своей цели; распилить бревно или два полена дров для какой-нибудь кухарки, или разбить в клепки негодный к употреблению боченок, или исшипать в лучину, для подпалу, сосновую доску, летом обработать несколько ярдов садовой земли, принадлежащей какому-нибудь мелкому наемщику, зимой очистить тротуар от снега или проложить тропинку к сараю или прачечной – таковы были существенные услуги, которые дядя Веннер оказывал по крайней мере двадцати семействам. В этом кругу он имел притязание на предпочтение и теплую любовь. Он не мечтал о каких-нибудь выгодах, но каждое утро обходил свой околоток, собирая остатки хлеба и другой пищи для своего желудка.

В свои лучшие годы, потому что все-таки существовало темное предание, что он был не молод, но моложе, дядя Веннер считался у всех вообще человеком не слишком сметливым. Действительно, о нем можно было это сказать, потому что он редко стремился к успехам, которых добиваются другие люди, и принимал на себя в житейских делах всегда только ничтожную и смиренную роль, которая предоставляется обыкновенно признанному всеми тупоумию. Но теперь, в престарелых летах своих, – потому ли, что его долгая и тяжкая опытность умудрила его, или потому, что его слабый рассудок не допускал его прежде достойно оценить себя, – только этот человек представил право на порядочную дозу ума, и, действительно, это право было за ним признано. В нем время от времени обнаруживалась, так сказать, жилка чего-то поэтического: то был мох и пустынные цветы на его маленьких развалинах; они придавали прелесть тому, что бы могло назваться грубым и пошлым в раннюю пору его жизни. Гефсиба оказывала ему внимание, потому что его имя было известно в городе и некогда пользовалось уважением, но всего больше упрочивало за ним право на ее уважение то обстоятельство, что дядя Веннер был самое старое существо в Пинчоновой улице между одушевленными и неодушевленными предметами, исключая Дом о Семи Шпилях и, может быть, вяз, который осенял его.

Этот-то патриарх предстал теперь перед Гефсибой в старом синем фраке, который напоминал современную моду и, вероятно, достался ему от раздела гардероба какого-нибудь умершего пастора. Что касается штанов его, то они были из толстого пенькового холста, очень коротки спереди и висели странными складками сзади, но шли к его фигуре, чего решительно нельзя сказать об остальном его платье. Например, его шапка очень мало была согласована с его костюмом и еще меньше с головой, на которой ее носили. Дядя Веннер был таким образом составной старый джентльмен, отчасти сам по себе, но гораздо больше по внешним принадлежностям. Это было собрание лоскутков разных эпох, это был образ разных времен и обычаев.

– Так вы все же не шутя принялись за торговлю? – спросил он. – Не шутя принялись? Дело, я очень рад. Молодые люди не должны жить праздно на свете, так же как и старые, разве только когда ревматизм свалит. Он постоянно мне о себе докладывает, и я думаю года через два оставить дела и удалиться на свою ферму. Она вон там, вы знаете, большой кирпичный дом – рабочий дом, как большею частью его называют. Но я сперва хочу потрудиться, а потом уже отдохну там на покое. Очень, очень рад, что вы тоже взялись за дело, мисс Гефсиба!

– Благодарствую, дядя Веннер, – сказала, улыбаясь, Гефсиба, потому что она всегда чувствовала расположенность к простоватому и болтливому старику. Если б он был не старик, а старуха, она не позволила бы ему с собой свободного обращения, которое теперь допускала. – В самом деле, пора и мне взяться за дело! А лучше сказать, я начинаю тогда, когда бы должна была закончить.

– Не говорите этого, мисс Гефсиба, – отвечал старик. – Вы еще молоды. Я и сам себе кажусь моложе, чем есть на деле. Мне сдается, это было еще так недавно, что я видал, как вы, бывало, малюткой играете у дверей старого дома! Чаше, однако, вы, бывало, сидели на пороге и смотрели серьезно на улицу; вы всегда были серьезным ребенком, у вас был важный вид, когда вы доросли еще только до моего колена. Мне кажется, как будто я вас вижу ребенком перед собою, да и вашего дедушку, в его красном плаще, и в белом парике, и в заломленной шляпе; вижу вот, как он, с тростью в руке, выходит из дому и важным шагом идет по улице! Старые джентльмены имели важный вид. В лучшие мои годы сильного в городе человека обыкновенно называли джентльменом, а жену его – леди. Я повстречал вашего кузена, судью, минут десять назад, и нужды нет, что на мне, вот как видите, пенька да старье, судья снял шляпу, как мне показалось. По крайней мере, судья поклонился и улыбнулся.

– Да, – сказала Гефсиба с какою-то невольной горечью в тоне, – мой кузен Джеффри думает, что у него очень приятная улыбка.

– А что ж? Оно в самом деле так! – отвечал дядя Веннер. – И это очень чудно в Пинчонах, потому что, с вашего позволения, мисс Гефсиба, они никогда не слыли ласковыми и приятными людьми. С ними не было способа заговорить. Но почему бы, мисс Гефсиба – если позволите старику такую смелость, – почему бы судье Пинчону, при его больших средствах, не зайти к вам и не попросить вас закрыть тотчас вашу лавочку? Конечно, для вас тут есть выгода, но для судьи никакой нет в нашей торговле!

– Не станем об этом рассуждать, с твоего позволения, дядя Веннер, – сказала холодно Гефсиба. – Впрочем, я должна сказать, что если я решилась зарабатывать себе хлеб, то виной этому не судья Пинчон. Он также не заслуживал бы порицания и в то время, – прибавила она несколько ласковее, вспомнив привилегии старости и обычной фамильярности дяди Веннера, – когда бы я мало-помалу убедилась, что мне надобно удалиться вместе с тобой на твою ферму.

– Ферма моя – недурное местечко, вовсе нет! – воскликнул старик добродушно, как будто в этом плане было что-нибудь положительно радостное. – Недурное местечко – большой кирпичный дом, особенно для тех, кто там найдет довольно старых приятелей, как вот я. Меня давно уже к ним тянет, особенно в зимние вечера, потому что скучно одинокому старику, как я, просиживать, дремля по целым часам, без другого товарища, кроме горящей на очаге головни! Много можно сказать в пользу моей фермы как летом, так и зимой. А возьмите вы осень – что может быть приятнее, чем проводить целый день на солнечной стороне овина или на куче бревен с таким же стариком, как я сам, или, пожалуй, с каким-нибудь простаком, который умеет только лениться и балагурить? Право, мисс Гефсиба, я не знаю, где бы мне было так покойно, как на моей ферме, которую по большей части называют рабочим домом. Но вы... вы еще молоды, вам нечего думать о ней. На вашу долю может выпасть что-нибудь получше. Я в этом уверен!

Гефсибе показалось, что в глазах и в тоне ее почтенного друга есть что-то особенное. Она посмотрела пристально ему в лицо, стараясь угадать, какая тайная мысль – если только была она! – просвечивает в его чертах. Люди, дела которых дошли до отчаяннейшего кризиса, часто поддерживают себя надеждами, и тем более воздушно-великолепными, чем меньше у них в руках остается твердого материала, из которого бы можно было вылепить какое-нибудь благоразумное и умеренное ожидание благоприятной перемены. Так и Гефсиба, строя план своей мелочной торговли, постоянно питала в душе надежду, что фортуна выкинет в ее пользу

какую-нибудь необыкновенную штуку. Например, дядя, отплывший в Индию пятьдесят лет назад и пропавший без вести, может вдруг воротиться, сделать ее утешением своей глубокой и очень дряхлой старости, украсить ее перлами, алмазами, восточными шальями и тюрбанами и завещать ей свое несметное богатство. Или член парламента, стоящий теперь во главе английской ветви ее дома, с которой старшее поколение по эту сторону Атлантического океана не имело никаких сношений в течение последних двух столетий, может написать Гефсибе, чтоб она оставила ветхий Дом о Семи Шпилях и переезжала на жительство к родным, в Пинчон-Хилл. Впрочем, по весьма важным причинам она не могла бы принять этого приглашения. Поэтому гораздо вероятнее, что потомки Пинчона, которые переселились в Виргинию в одном из минувших колен и сделали там богатыми плантаторами, узнав о жалкой участи Гефсибы и будучи подвинуты благородством характера, который проявился в родственном им новоанглийском доме Пинчоных, пришлют ей вексель в тысячу долларов, с обещанием высылать по стольку же ежегодно. Или – ничто не может быть согласнее с законами вероятности – великая тяжба о наследстве графства Пальдо может наконец быть решена в пользу Пинчоных, так что, вместо того чтобы торговать в мелочной лавочке, Гефсиба построит дворец и будет смотреть с высочайшей его башни на холмы, долины, леса, поля и города, составляющие ее территорию.

Таковы были некоторые из фантазий, которыми она давно уже утешалась. Под их влиянием случайная попытка дяди Веннера ободрить ее зажгла странно торжественную иллюминацию в убогих, пустых и печальных комнатах ее черепа, как будто этот внутренний ее мир был вдруг освещен газом. Но или старик ничего не знал о ее воздушных замках – и откуда было ему знать? – или ее пристальный, нахмуренный взгляд прервал приятные его воспоминания, как это могло бы случиться и с более храбрым человеком, только дядя Веннер, вместо того чтобы приводить еще сильнейшие доводы благоприятного положения Гефсибы, счел за благо снабдить ее несколькими мудрыми советами касательно ее нового ремесла.

– Не давайте никому в долг! – Это было одно из его золотых правил. – Никогда не принимайте векселя! Хорошенько пересчитывайте юнцу сдачу! Серебро должно иметь чистый свой звон! Отдавайте назад английские полупенсы и медную монету, с которой множество местных ходит по городу! На досуге плетите детские чулочки и рукавички! Заправляйте сами для своей лавочки дрожжи и пеките сами пряники...

Между тем как Гефсиба усиливалась переварить жесткие пилюли его глубокой мудрости, он в заключение своей речи привел два следующих, по его мнению, весьма важных совета:

– Встречайте своих покупателей с веселым видом и улыбайтесь любезно, подавая им, что они спросят! Залежавшийся товар, если только вы подадите его с добродушным, теплым, солнечным смехом, покажется им лучше, чем самый свежий, сунутый в руки с суровым взглядом.

На это последнее изречение бедная Гефсиба отвечала таким глубоким и тяжелым вздохом, что дядя Веннер чуть не полетел в сторону, как сухой листок от дыхания осеннего ветра.

Оправившись, однако, от своего смущения, он наклонился несколько вперед и прошептал ей с особенным чувством, которое отразилось на его старом лице, вопрос:

– Когда вы ожидаете его домой?

– Кого? – спросила, побледнев, Гефсиба.

– Ах! Вы не любите говорить об этом, – сказал дядя Веннер. – Ладно, ладно, не станем больше болтать, хотя о нем толкуют по всему городу. Я помню его, мисс Гефсиба, до его отъезда!

В остальную часть дня бедная Гефсиба исполняла свою роль торговки еще с меньшею уверенностью, нежели при первых своих опытах. Она как будто действовала во сне, или, вернее, жизнь и действительность, выражаемые ее движениями, сделали для нее все внешние обстоятельства неосязаемыми, как томительные мечты полусознаваемого сна. Она продолжала вскакивать на частый зов колокольчика, продолжала по требованиям своих покупателей обводить блуждающим взглядом лавочку, подавать им то ту, то другую вещь и откладывать в сто-

рону – наперекор им, как многие думали, – именно то, чего они спрашивали. В самом деле, когда дух человека устремлен в прошедшее или в будущее или каким-нибудь другим образом становится на узкой границе между настоящей своею областью и действительным миром, в котором тело предоставлено собственному о себе попечению, управляясь силою, немного выше животной жизни, – в таком состоянии человек неизбежно бывает подвержен печальному замешательству. Он в это время словно поражен смертью, хотя не пользуется выгодой смерти – свободой от земных о себе попечений. Всего хуже бывает, если к этому еще земные обязанности его заключены в таком кругу мелочей, в каком теперь очутилась мечтательная душа старой леди. Как будто действием злой судьбины, в послеобеденные часы, как нарочно, покупатель за покупателем приходил в лавочку. Гефсиба металась туда и сюда на тесном своем поприще, делая множество неслыханных промахов: иной раз она отсчитывала на фунт двенадцать, а в другой – только семь сальных свечек вместо десяти; продавала имбирь вместо шотландского нюхательного табаку, булавки вместо иголок, а иголки вместо булавок; ошибалась в сдаче иногда в ущерб покупателю, но чаще – себе в убыток, и так подвизалась она, напрягая все силы, чтоб выйти из хаоса недоумений и беспорядка, пока наконец наступил вечер и она, к своему изумлению, нашла ящик для денег почти пустым. Вся жалкая торговля ее принесла ей в день, может быть, полдюжины медных монет и подозрительный шиллинг, который вдобавок оказался также медным.

Этой ценой – или какой бы то ни было другой – она купила наконец удовольствие видеть конец дня. Никогда прежде не чувствовала она, чтобы время между рассветом и закатом солнца тянулось так нестерпимо долго, никогда не испытывала она досадной необходимости трудиться, никогда еще не чувствовала она так ясно, что ничего не могло бы быть для нее лучше, как упасть в мрачной покорности своей судьбе и, лишившись чувств, предоставить жизни с ее трудами и горестями катить свои волны через простертое тело изнемогшей жертвы.

Последняя сделка Гефсибы была с маленьким истребителем негра Джим-Кро и слона. На этот раз он предположил упрянуть в себе верблюда. В замешательстве она предложила ему на съедение сперва деревянного драгуна, а потом горсть мраморных шариков, но так как ни один из этих предметов не пришелся мальчишке по вкусу, то она торопливо схватила последние остатки естественной истории в виде пряников и выпроводила с ними маленького покупателя из лавки. Потом она обернула звонок недовязанным чулком и задвинула поперек двери дубовый засов.

Во время последней процедуры под ветвями вяза остановился омнибус. Сердце Гефсибы сильно затрепетало. Отдаленной, покрытой сумраком и не освещенной ни одним солнечным лучом казалась эпоха, когда она ждала, но не дождалась к себе единственного гостя, на приезд которого можно было рассчитывать. Неужели она увидит его теперь?

Во всяком случае, кто-то вылезал из глубины омнибуса к его выходу. На землю спустился джентльмен, но только для того, чтоб предложить свою руку молодой девушке, тонкая фигура которой нисколько не нуждалась в такой помощи, она легко спустилась по ступенькам и сделала с последней ступеньки на тротуар маленький воздушный прыжок. Она наградила своего кавалера улыбкой, радостное отражение которой видно было на его лице, когда он возвращался в омнибус. Девушка обернулась к Дому о Семи Шпилях, у входа которого между тем – не у двери лавочки, но у старинного портала – кондуктор сложил легкий сундук и картонку. Постучав сперва крепко старым железным молотком, он оставил свою пассажирку и ее кладь у ступенек входа и отправился своим путем.

«Кто бы это был такой? – думала Гефсиба, сосредоточив свои зрительные органы в самый острый фокус, к какому только они были способны. – Девушка, видно, ошиблась домом!»

Она тихо прокралась в сени и, будучи сама невидима, смотрела сквозь мутное боковое оконце возле портала на молодое, цветущее и чрезвычайно веселое личико, которое ожидало

приема в хмуром старом доме. Это было такое личико, перед которым каждая дверь отворилась бы добровольно.

Молодая девушка, такая свежая, такая вольная и при этом, как вы тотчас увидите, такая уживчивая и покорная общим правилам, представляла в это время разительный контраст со всем, что ее окружало. Грубая и неуклюжая роскошь великанского камыша, который рос в углах дома, тяжелый, осенивший ее выступ верхнего этажа и обветшалый навес над дверью – ни один из этих предметов не относился к ее сфере. Но подобно тому, как солнечный луч на какое бы заглохшее место ни упал, тотчас обращает его в свою собственность, все здесь в одну минуту получило иное выражение, как будто для того было и устроено, чтоб эта девушка стояла на пороге этого дома. Невозможно было допустить и мысли, чтоб его дверь не открылась перед нею. Даже девственная леди, несмотря на первое негостеприимное движение своей души, скоро начала чувствовать, что надобно отворить дверь, и повернула ключ в заржавевшем замке.

«Уж не Фиби ли это? – спрашивала она сама себя. – Верно, это маленькая Фиби, больше быть некому; она же притом как будто напоминает своего отца! Но что ей здесь надобно? И как моя деревенская кузина могла приехать ко мне этак, не известив меня даже за день до приезда и не узнав, будут ли ей здесь рады? Но, верно, она только переночует и воротится завтра к своей матери».

Фиби, как уже стало понятно, представляла собой новое поколение Пинчонов, поселившиеся в деревенском захолустье Новой Англии, где старые обычаи и чувства родства до сих пор свято соблюдаются. В ее кругу вовсе не считалось неприличным между родными посетить друг друга без приглашения или предварительного учтвого уведомления. Впрочем, в уважение к затворнической жизни мисс Гефсибы, ей действительно было написано и отправлено письмо о предполагаемом посещении Фиби. Это письмо дня три или четыре назад перешло из конторы в сумку городского почтальона, но тот, не имея другой надобности заходить в Пинчонову улицу, не счел нужным явиться в Дом о Семи Шпилях.

«Нет, она только переночует, – сказала себе Гефсиба, отворяя дверь. – Если Клиффорд обнаружит ее здесь, ему будет неприятно!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.